

Владимир
МАКАНИН

Лауреат премии «Большая книга – 2008»



Пойте им тихо

Владимир Маканин
Пойте им тихо (сборник)

«ЭКСМО»

Маканин В. С.

Пойте им тихо (сборник) / В. С. Маканин — «Эксмо»,

В новый сборник признанного мастера русской прозы Владимира Маканина вошел весь спектр жанров: от романа и новеллы до маленького рассказа. Герои этой книги – люди, замороженные завистью, любовью, стесняющиеся страсти своего сердца и желаний, все время готовые променять синицу в руках на журавля в небе и совершенно не жалеющие о возможных потерях. Эти люди – водители, учителя, врачи, самоучки и ученые, счастливые и несчастные, – все они несут на себе печать какой-то тайны и высшей силы. Как будто каждый день каждому из них выпадает шанс спасти человечество или открыть параллельный мир за дверью склада. О любви к людям думай! – призывом звучат слова маканинского старика-врачевателя из легендарного романа «Предтеча». И люди верят: если и не излечатся их болезни, то успокоится их душа и законы жизни вдруг предстанут светлыми и разумными.

© Маканин В. С.

© Эксмо

Содержание

Дашенька	6
Колышев Анатолий Анатольевич	19
Пойте им тихо	30
В дождливые дни	38
Не наш человек	44
На зимней дороге	54
Предтеча	60
ГЛАВА ПЕРВАЯ	60
1	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Владимир Маканин

Пойте им тихо (сборник)

Издается в авторской редакции

Дашенька Рассказ

Дашенька Дурова любила Андрея, любила год и любила другой, но, как говорили окружающие, любила, «не соразмерив слабых своих возможностей». Это означало примерно то же, что означает известная поговорка – «не по чину берешь». Или другая поговорка, тоже емкая: знай, мол, сверчок свой шесток.

Андрей был довольно красив, и притом броско красив, он очень нравился молодым женщинам, и немолодым нравился тоже – он нравился в метро, он нравился на улице и в туристском походе, на спортплощадке и даже в столовой. Плюс ко всему Андрей был талантливый физик. Тогда это было сверхмодно. А Дашенька работала скромным корректором в Институте лингвистики, сидела где-то там в полуподвале, в комнатухе, маленькая и незаметная.

– Знай сверчок свой шесток, – говорили Дашеньке, ей по-доброму говорили.

И Дашенька задумывалась. И вздыхала. О том, что в поговорке этой немало, конечно, мудрости. Но ведь и жестокости сколько.

* * *

В корректорской, где трудилась Дашенька, всегда стоял монотонный гул. Десять женщин сидели за столами и негромко вычитывали тексты – каждая свой, – а все вместе они создавали неразличимое и нескончаемое: «Бу-бу-бу-бу...» Они читали вслух, потому что глазом обнаружить ошибку или опечатку гораздо труднее. Глаз ленив. Глаз не прочь поторопиться. И женщины это хорошо знали.

И Дашенька тоже. Она глотала слезы и думала об Андрее. Но одновременно глаза ее скользили по тексту и губы шептали:

«...В то лето в июне стояла страшная жара. Колхозники ждали благодатного дождя, но дождя не было».

Через два стола за третьим от Дашеньки сидела ее подруга Вика – ее глаза тоже скользили по тексту, губы шептали:

«...Есть немало оснований считать Брута сыном Юлия Цезаря».

В перерыв Вика, настаивая, позвала Дашеньку обедать.

– Не хочется. – И Дашенька быстро-быстро промокнула глаза платочком.

Она стеснялась слез. Она считала подругу Вику очень умной. И побаивалась ее.

– Идем...

– Не хочется.

– Ты должна обедать, и ты непременно пообедаеть – и, ради бога, не делай из этого драму.

Вика решительно взяла Дашеньку под руку и повела в буфет – он располагался тремя этажами выше, в этом же здании. В буфете можно было съесть горячие сосиски с гречневой кашей. И выпить кофе.

Сначала Вика помалкивала, чувства сдерживала и только ела, она любила поесть. В просвет между третьей и четвертой, последней, сосиской она заговорила:

– Ты, Дашенька, должна иметь хоть каплю гордости. Женщина без гордости – это не женщина. Не любит тебя – и пусть не любит. Оборви разом, и бог с ним...

И еще она говорила:

– Не ходи к нему больше. Не унижайся.

И еще:

– Он же тебя первый теперь не уважает.

Но Дашенька пришла к нему, как приходила всегда. Она даже и мысленно не могла оторваться от его звенящего имени. Она только позвонила матери – сочинила, придумав нечто правдоподобное.

Звонила она из телефона-автомата, нырнула с колотящимся сердцем в кабинку и затаилась. Она боялась, что ее увидит Вика – увидит, вытянет из кабинки и продолжит тот разговор.

Через полчаса она появилась у него на пороге.

– Дашуля! Привет! – обрадовался Андрей. – Как это здорово, птичка, что ты снова прилетела!

– Люблю тебя, вот и прилетела, – обиделась Дашенька, ей никак не нравилось слово «птичка».

Он рассмеялся:

– Меня многие любят – а вот ведь не прилетели.

Это он так форсил, шутил, валял ваньку, но, говоря общее, он был неплохой парень, и его не испортило то, что он нравился многим, – бывает такое, всякое бывает.

Квартирка у него была небольшая. И хлам всюду. И беспорядок. И бутылки тянули кверху свои шеи там и сям. Но зато он был в белой рубашке (Дашенька сама стирала и крахмалила) и в ярком галстуке (чей-то подарок) и к тому же этак вольно расхаживал туда и обратно, крепко ставя ноги и улыбаясь, – блеск, а не парень. К тому же и физик.

Он говорил:

– ...Если бы меня взяли в лабораторию Брусилова, я уж, кажется, ничего бы в жизни не хотел. Больше нет желаний.

– Возьмут, Андрей, – волновалась Дашенька, – обязательно возьмут. Ты такой талантливый.

– Талантливых много. Талантливых гораздо больше, чем принято думать...

– Разве?

– К таланту надо иметь еще кое-что – удачу.

Они сели ужинать, Андрей был голоден – он яростно ел и яростно говорил о своей мечте, о лаборатории Брусилова. Наконец выговорился весь. И наелся.

– А что у тебя слышно? – спросил Андрей вдруг, и это он впервые поинтересовался, как у нее и что.

Дашенька даже растерялась. Разумеется, в жизни что-то происходило, но в минуту, когда он спросил, возникала только корректорская, да Вика, да нескончаемое шевеление губ: «Бу-бу-бу», – рассказывать об этом она не стала. В горле стоял ком и никак не сглатывался.

– У меня... У меня... особенного ничего. – И Дашенька подумала, что она, пожалуй, сейчас заревет.

Она быстренько отправилась на кухню перемыть посуду – бытовая возня ее успокаивала.

– Ты останешься сегодня? – спросил он.

Дашенька ответила:

– Да.

– Тогда звони матери.

– Я позвонила.

* * *

На лето Андрей умчал на Кавказ – он уехал один, и было ясней ясного, что там, у моря, Дашенька ему ни к чему. Море синее и солнце желтое, как хорошо. Не ездил, мил дружок, в город Тулу со своим самоваром – такая тоже есть пословица, не из самых забытых.

– Не понимаю я тебя, – говорила Вика. – И как ты можешь на это спокойно смотреть?!

– Пусть отдыхает...

– Я ведь не знала. Это теперь называется – отдыхает?

Подруга Вика была человек одинокий, она была некрасива и малообщительна и добра душой – не раз и не два ей думалось, что, если Дашенька махнет рукой на своего ослепительного Андрея, обе они будут жить и поживать, как живут неразлучные подруги. Что поделаешь, судьба: в большом и современном городе многие остаются без мужа и семьи. Грустно, конечно. Но грустная жизнь – это ведь тоже жизнь. И кстати сказать, не очень она грустная.

– Во всяком случае, ты не будешь такая униженная...

– Я не знаю... – Дашенька потупилась, и на глаза тут же набежали слезы.

– Ну вот ты и плачешь.

– Я не униженная...

– А какая же ты?

– Я не униженная – я его люблю.

– Ах, перестань!..

Бранить бранила, но, с другой стороны, Вика очень хотела Дашеньке счастья – и вот она ломала голову, думала, как помочь, как уладить, как найти «его слабую струнку». Под слабой стрункой Вика понимала то, на чем можно сыграть. И учила Дашеньку:

– Ты должна попытаться взять его женственностью.

И поясняла:

– Стирай ему. Гладь. Наводи порядок в его берлоге. И чтоб он ежедневно и ежечасно выглядел как с иголочки.

И поясняла дополнительно:

– Гоняй в парикмахерскую. Заставляй чаще лезть в ванну. Он, конечно, рос в сарае, но сделать из него человека можно...

– Он не неряха.

– Мужчина – всегда неряха.

В очередное воскресенье мать спросила Дашеньку:

– Куда же твой ухажер делся? (Почему сегодня дома сидишь?)... Уехал?

– Он в командировке, мама.

– В командировке, – мать скривила губы, – смотри-ка, птица какая!

Дашенька смолчала. В таких случаях лучше всего отмолчаться – и тогда не придется нагромождать ложь на ложь, как нагромождают дети кубик на кубик.

– Эх, Дашка, – негрубо сказала мать. – Думаешь, мать – дура, а ведь твоя мать не дура, хотя и малограмотная. Доченька моя, Дашенька, где же твой стыд девичий?

Дашенька молчала.

– Как ты себя чувствуешь, а? – Мать оглядела ее с ног до головы цепкими и вполне земными глазами.

– Хорошо, мама.

Опасения матери были напрасны. Но она как-то особенно выпрашивала и приглядывалась, назревал неприятный разговор, – правда, назревал он уже не впервые.

К счастью, в дверь позвонили – приехала Вика:

– Здравсьте. Приветик, а я к вам в гости – не ждали?

Потом она шепнула Дашеньке:

– Приехала учить тебя пирожки печь. Тесто я делаю особенное. И ватрушки удаются, – вот увидишь! – ему понравятся...

Вика была прекрасная хозяйка, и пекла, и стряпала – пошептавшись, она сразу же отправилась с Дашенькой на кухню, она замесила тесто, приготовила начинку, и вот плита уже выдавала из своего нутра пирожки – один одного веселее... В окне млели летние облака. Вика

стояла у плиты в ярком переднике. И повторяла Дашеньке золотые слова о том, что наикратчайший путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.

Потом, здесь же, на кухне, Дашенька и Вика сидели в сумерках. Они не зажигали света, они сидели рядом и говорили о жизни. Немного пошутили. Немного поплакали.

* * *

В конце отпуска Андрей, не подававший признаков жизни, все же прислал фототелеграмму, это очень удобный вид связи, потому что и быстро (намного быстрее письма), и можно вместить кучу слов. Правда, Андрей вместил их не так уж много:

«Дашуля. Море замечательное – чудо чудес. К моему возвращению, будь добра, приведи в порядок мою берлогу. Ключи у соседа по лестничной клетке. Целую».

Когда Андрей вернулся, они поженились. Со свадьбой – день в день – совпало еще одно хорошее и важное событие: Андрея взяли в лабораторию Брусилова. Сцепление обстоятельств волновало как знак свыше. Всю или почти всю «медовую» ночь он шастал из кухни в комнату, а из комнаты в кухню и взволнованно бормотал:

– Сбылось, сбылось!.. Ну, теперь главное – не робеть. Вкалывать и еще раз вкалывать!

Было три часа ночи. Чиркнув в темноте спичкой, чтобы закурить, Андрей повторял:

– Вкалывать! Слышь, Дашуля... Если уж ты вскочил на коня, надо взмахивать плетью – верно?

Дашенька, конечно же, соглашалась. Замирая, она кивала ему и кивала. Она немного зябла. Она жалась в угол постели и (потихоньку от Андрея, в темноте) плакала непонятно отчего. Счастье было как-то неожиданно, как бы свалившееся с неба, – она и Андрей, семья, жизнь бок о бок, и верилось, и не верилось тоже.

* * *

Она сидела у себя в корректорской, а мыслями была с ним – Андрей ставил сейчас свой первый эксперимент в новой лаборатории.

«...В деревне наступила ночь. Шелестели осины. Лаяли на прохожих собаки», – вычитывала текст Дашенька, голова Дашеньки клонила все ниже, глаза слипались... А рядом читала текст Тамара. А дальше Соня. А дальше – Вика. И все вместе они бубнили и как бы коллективно бредили: «Бу-бу-бу-бу...»

Возвращаясь домой в троллейбусе, Дашенька уже поняла, что заболела.

Дома она слегла.

Андрей был внимателен и чуток, и готовил ей чай с малиной, и в аптеку бегал, но по ходу болезни выяснилось нечто – оказалось, что он совершенно не выносит беспорядка в доме. Он привык к уходу. И как же быстро стали его раздражать раскиданные там и сям вещи. Он привык к чистоте, привык к жене – а жены, в сущности, не было, и кругом был нарастающий беспорядок, потому что Дашенька уже третий день лежала пластом.

Андрей нервничал.

– Не могу работать, – жаловался он. А ведь обычно вечерами, после работы, он два-три часа работал дома.

Он стал уезжать в библиотеку. Придет с работы, наскоро поужинает – и уехал.

– Ты уж не сердись на меня. Не сердись, – жалко и потерянно оправдывался он.

– Ладно.

– Пойми – я должен работать.

Андрей уезжал. Дашенька кое-как вставала с постели. В голове звон, в висках стучало – она опасливо передвигалась по полу, как передвигаются по льду. Брала в руки тряпку. И потихонечку начинала прибираться в квартире.

«Может быть, приятели новые. А может быть, женщина», – думала Дашенька. Покончив с уборкой, она шла на кухню. Медленно и вяло она мыла посуду. Но она ошибалась – Андрей действительно работал.

* * *

Дашенька выздоровела. И теперь – как бы в память о болезни – она научилась мило подшучивать над Андреем.

– Ты знаешь, – говорила она, к примеру, рано утром, – рубашки-то свежей нет...

– Что?! – пугался он.

– Не успела вчера постирать, – объясняла она. – Дел много. Собиралась, порошок купила, но не успела.

Андрей начинал сходить с ума. Он метался по комнате – хватался то за свитер, то за пиджак, то за галстук. И ежеминутно глядел на часы: что же делать, что же теперь делать?.. Бедняга привык быть одетым как на свадьбу.

Помучив его минуту-другую, Дашенька смеялась и открывала платяной шкаф. И наконец – звала:

– Андрей!.. Вот – оказывается, есть одна чистая. Держи. Скорее!

Он хватал свежую рубашку и судорожно одевался. Дашенька смеялась:

– Везучий ты, Андрей. Могло ведь не оказаться рубашки...

Он хватал портфель и мчался на работу. Целовал Дашеньку. И бросал ей на бегу:

– Сегодня же все постирай. Отдай в прачечную... Нельзя же так!

Когда она рассказывала об этих шутках у себя в корректорской, все хохотали. А Вера Викторовна признавалась, что такие шутки доставляют ей истинное наслаждение и продляют жизнь, – мужчин Вера Викторовна вообще презирала.

– Молодец, Дарья, – Вера Викторовна глубоко-глубоко вздыхала, – так их, окаянных!

Иногда Дашеньке хотелось собрать подруг – устроить девичник, – и оказалось, что сделать это проще простого. Как все физики, Андрей пугался надвигающегося беспорядка загодя. Достаточно было денька два в квартире не убираться, и ровно на третий день Андрей в гневе сбежал в библиотеку на весь вечер.

Женщины собирались, они выпивали немного красного вина и выбалтывали друг другу о своих бедах и своих радостях, мирные посиделки расслабляли их, как расслабляет взгляд на озеро или на движущуюся воду ручья; для них, женщин, это было совсем немало – для них это было отдушиной.

– Как хорошо у тебя, Дашенька! – говорили они.

И Вера Викторовна счастливо вздыхала:

– Так их, окаянных!

И все смеялись.

Само собой, перед их приходом Дашенька успевала убрать и вылизать свою квартирку до полного блеска. Чистоту она обожала.

Если Андрею будто бы по делу (а может быть, и впрямь по делу) начинала названивать какая-то беспокойная женщина, Дашенька устраивала ему небольшую семейную сцену (то самое, что называется малым вправлением мозгов). Она – отваживалась. А затем ни утром, ни вечером не притрагивалась ни к кастрюлям, ни к пылесосу, отчего в течение недели уютная квартирка превращалась в сарай, превращалась просто, быстро и без усилий, ломать – не созидать.

Андрей выходил из себя. Пробовал бунтовать.

– Я развожусь! – кричал он. – Хватит. Кончено.

Дашенька молчала.

– Я развожусь, ты слышала? Я подаю заявление!..

– Андрюша, родной мой, ну зачем же так сразу...

У Дашеньки уже вполне открылись глаза, широко открылись. И открывшиеся милые эти глазки видели, что при всей своей внешней лихости и яркости Андрей стал, в сущности, совершенно ручным. Еще немного усилий, и он станет как ребенок. Дашь сахарцу – улыбнется. Дашь еще – и еще улыбнется. И обратной дороги нет, потому что обратных дорог не бывает.

Андрей и раз, и другой, и третий пробовал обидеться и сбежать к своему товарищу в общежитие. Там даже стены дышали свободой. Он жил там несколько дней, иногда неделю, но к смене белья в банный день был уже тут как тут.

* * *

Как и остальные мужья, Андрей часто и подолгу думал о разводе. Он знал, что думать – это недостаточно, это ноль, это ничто, нужно именно волевое усилие, а вся воля, как казалось Андрею, отдана сейчас экспериментам в лаборатории, минута не та.

– Мне еще год-два, – бормотал вечерами Андрей, как бормочут заклинания. – Год-два, и я доделаю эту чертову работенку. И тогда распрямлюсь.

Он толком не знал, что это означает – «распрямлюсь», но в слове таилось много надежд. Слово было больше, чем просто слово. И он улыбался.

– Тогда я ей покажу, – бормотал он, – тогда она увидит прежнего Андрея.

Он еще не догадывался, что за этой чертовой работенкой придет следующая работенка и что все это затянется на много-много лет, и конца не будет по той простой причине, что конца не бывает.

И еще штрих. Во время ссор с женой Андрей вдруг заметил, что ему, небритому, потертому и помятому, сотруднику лаборатории улыбаются вроде бы совсем не так, как раньше. И рады они ему совсем не так – а он хотел, чтоб ему были рады.

Когда Андрей ночевал у своего приятеля в общежитии, он ночь напролет курил, жег свет и жаловался на судьбу. Но общежитские стены, все поглощая, слышали много жалоб – слышали ссоры, крики, исповеди, доверительные шепотки и всхлипывания далеко за полночь. Приятель только разводил руками:

– Женщина – это тайна.

– Что? – переспрашивал Андрей.

– Тайна, говорю. Женщина – это всегда тайна.

Приятель был женат трижды и каждый раз собирался вести счастливую семейную жизнь – но кончил общежитием.

Андрей возвращался. Дашенька встречала его ласково и с доброй кроткой слезой.

В первый вечер по возвращении домой он бывал молчалив. Работал. Писал, скажем, статью. И обиженно, тихо-тихо и как бы случайно напевал о том, что он цветы не бросает к ногам, но...

...Я тебе в этот день замечательный
Свое верное сердце отдам.

Разумеется, это означало, что он, Андрей, любил и любит ее на веки вечные. Дашенька вздыхала. Грустила. Она слушала эту давным-давно не модную и нудную песню... «Чудачок, – думала она, – зачем мне твое сердце, когда оно и так со мной, в моем буфете. А цветы – это

все-таки цветы. Я уж молчу про розы. Но букетик красных гвоздик мне бы сейчас не показался лишним».

* * *

В детстве Дашенька была очень милой, а потом все куда-то ушло. Она была худая и пугливая, ее обижали на работе, отчего она плакала по пустякам и забывала взять билет в троллейбусе, и вообще не походила на молодую женщину – она была похожа на истощенного и беспородного зверька.

Но теперь Дашенька похорошела. Природа вернула ей свое – теперь это была привлекательная блондинка, очень милая, как в детстве, с широко расставленными серыми глазами. И шаг ее стал другим, и посадка головы, и улыбка, и речь – известная метаморфоза, которая происходит с человеком, когда человек начинает дышать.

Теперь Андрей ее не стеснялся. Он был не прочь пойти с ней на люди, прийти к кому угодно в гости и при случае даже прихвастнуть:

– Вот у меня какая женушка!

Дашенька в таких случаях алела. И, потупив глаза, молчала.

– А хозяйка какая, – восторгался Андрей, – она у меня хозяйка экстра-класса!

И Дашенька смущалась еще больше.

Дашенька навещала мать, и та жалела ее больше, чем всех остальных, мать постарела, жила одна – дряхлеющая все больше, она была очень довольна детьми. Кроме Дашеньки, у всех было высшее образование.

И мать говорила. Жалеючи:

– Бесталанная ты моя.

Мать считала, что Дашеньке в жизни не повезло. И вздыхала.

В скором времени Дашенька оставила свою корректорскую, судьба улыбнулась – после случайного разговора директор института предложил Дашеньке быть его секретарем, такой вот жест. Директор вообще был человек с собственным взглядом на жизнь и не из робких. Он, например, любил украшать стены своего кабинета дорогими картинами. И очень уважал статуэтки из темной бронзы – одна из них была его любимой, она изображала пахаря с сохой. И еще ему хотелось, чтоб в приемной сидела хорошенькая молодая женщина.

Зарплата Дашеньки выросла в полтора раза, а директор был стар и добр, чего же еще. Всякие там срывы, и заскоки, и грешки были для директора делом глубокого прошлого. Дашенька сначала разузнала про это. И только лишь затем дала свое согласие.

– Боязно как-то, – говорила она знакомым женщинам.

– Почему?

– Ну все-таки. Секретарша – это секретарша.

– Глупости, девочка!.. Вот увидишь – все будет прекрасно.

– А работа – не будет ли трудно?

– Не волнуйся. У него на стреме полным-полно референтов – не волнуйся, девочка.

Дашенька и сама знала, что трудно ей не будет. Она просто так спрашивала. Из скромности.

* * *

Андрей работал дома, его тема и выводы были настолько важны, что его начальник и всякие уважаемые люди освободили Андрея и бессрочно отпустили его. «Трудись дома. В наилучших условиях», – сказал ему начальник. Андрей все более становился теоретиком. Пред-

полагалось, что он не должен терять время на проезд туда-сюда. И даже зарплату ему носил старенький почтарь.

А у Дашеньки в эти дни была запарка, и она не осмелилась взять больничный, чтобы создать мужу наилучшие условия, и потому на ее секретарском столе нет-нет и заливался телефон.

– Алло.

– Дашуля, это я, Андрей. Скажи-ка мне быстро, манка – это белое и сыпучее?

– Да. Только не спутай с мукой.

– Ты, кажется, велела на пол-литра молока – две с половиной ложки манки.

– Да.

– Ты уверена, Дашуля?

– О господи, ну конечно уверена!

Андрей к этому времени впал в известную беспомощность – слишком привык к жене, ничего не умел, ничего не запоминал. Он пугался теперь и мало-мальской заботы – а стукнуть ему должно было вот-вот тридцать, и был он на семь лет старше Дашеньки.

Он звонил опять. В голосе была радость первооткрывателя:

– Дашуля! Милая!.. Я только что засыпал манку.

– Хорошо, родной.

– Я засыпал. Я уже помешиваю. Я помешиваю большой ложкой, слышишь, Дашуля?

И некоторое время Андрей держал телефонную трубку в непосредственной близости от кастрюльки. Чтобы жена слышала. И чтобы подсказала, если что-то булькает не так.

Дашенька была вся внимание, она записывала людей на прием. Она согласовывала день и час. Она беседовала. Она входила время от времени к шефу с кратеньким докладом – кто явился, и с каким вопросом, и согласен ли подождать хоть бы десять минут.

– Дашенька! – Это опять звонил Андрей. – Дашенька! – он прямо-таки кричал в телефонную трубку. – Каша никак не загустеет. Вроде бы сварилась, но не загустевает... Никак!

– Ешь незагустевшую, родной, – мягко говорила Дашенька. Она никогда не выходила из себя.

* * *

Примчавшись домой, Дашенька радостно поцеловала его – отошавший Андрей сидел за столом, писал, чертил, курил, а вокруг был вдохновенный беспорядок – на столе, на тахте, на паркете пола лежали его бумаги.

Картинка была родная и привычная, та же, что и вчера, и позавчера – но не совсем. Потому что с кухни тянуло жареным мясом.

– Привет!..

Оказалось, что зашла в гости подруга Вика. И хозяйничала.

– Что же ты, дорогая, своего мужика голодом моришь? – спросила Вика.

– Да так, – несколько смутилась Дашенька. – Дела...

– Нельзя, дорогая... Или ты забыла, что сердце мужчины и его желудок, в сущности, один и тот же орган?

– Я не забыла...

– Смотри – а то найдется другая, которая ему это напомним.

Дашенька и впрямь на полминуты взволновалась и оглянулась на мужа – слышал ли?.. Но Андрей не слышал: он был в шоке, он сидел, как сидит деревянный истукан в музее. Запах мяса сводил его с ума. Андрей не слышал, и не видел, и не понимал.

Дашенька выставила подругу Вика как можно быстрее. За чаем Вика все-таки пыталась завести разговор.

– Что же ты не спросишь – как у нас в корректорской?

– Я знаю, как у вас, – спокойно сказала Дашенька.

Вика пожала плечами:

– Ну тогда расскажи, что у тебя новенького.

– Ничего.

– Но ты же теперь при директоре.

– Ну и что – работа как работа.

Вика после чая хотела покрутить пластинки.

– Что ты, Вика, – мягко заявила Дашенька. – Андрей работает...

– А мы – тихо.

– Нет-нет.

Андрей действительно работал, хотя работалось ему неважно – утроенная порция мяса с картошкой, выделенная ему Викой, едва не свалила его в постель. Он зевал. Он тер глаза. В сознании мелькало что-то яркое и расцветенное – ему снились короткометражные сны, две секунды, не больше, – снились павлины, женские косынки, восточный базар и новенькая географическая карта Крыма.

После чая Вика ушла. Дашенька проводила ее до метро, но тепла в их разговоре не было.

* * *

Вика обиделась. Так и бывает. Вике показалось, что ей отплатили черной неблагодарностью, – она не понимала, что сама же сказала слова, которые напугали Дашеньку. Андрей был в известном смысле добычей, а добычей не делятся.

Вика к Дашеньке больше не пришла ни разу, несколько дней кряду Вика возмущалась – она наполнила шумом всю корректорскую.

– Старых друзей забывать – не самое ли последнее дело?! – говорила Вика в гневе.

И еще говорила:

– Ведь это я указала ей путь к сердцу Андрея.

И еще:

– Неизвестно, как бы она сейчас жила, не научи я ее печь пирожки...

А в эти самые минуты Дашенька ухаживала за Андреем, жарила ему и варила, стирала и гладила. Чуткая, она вполне реабилитировала себя после трудных дней запарки. Вике и в снах не снилось, как глубоко и как верно Дашенька усвоила, что уход и забота расслабляют мужчину, делают его ручным, беспомощным, и тогда из него хоть веревки вей.

* * *

В приемной директора, заждавшись, посетители нервничали, а иногда ссорились – каждому его дело казалось более важным и более срочным. И каждый рвался в кабинет.

– Товарищи, я вас прошу... Ради бога... Потихе...

Дашенькины глаза оказывали удивительное воздействие. И мягкий голос. И кроткий совет. И вовремя поданный стакан воды... И когда посетитель уходил, он нет-нет и вспоминал – а все же какой секретарь у директора. Клад. Добрейшее сердце.

Так возникла небольшая слава, а небольшая слава – это самая приятная слава. Говорили, что Дашеньке случилось помирить двух докторов наук, которые враждовали с юности. В пятьдесят на каком-то банкете они хватали друг друга за грудки, бранились, шумели и плескались один другому в лицо остатками коньяка в рюмке – сейчас им было по шестьдесят три года, они поцеловались прямо на глазах у Дашеньки.

Никогда и никому Дашенька не посоветовала плохо – такой вот дар. Иногда и директор звонил ей домой вечером:

- Дашенька, я хотел бы с вами поболтать минут пять – можно?
- Конечно, – мягче пуха отвечала Дашенька, но с достоинством, такой вот почерк.
- Как ваши дела? Как муж?
- Трудится... Он ведь у меня труженик.
- А вы?
- А я у плиты – как всегда.

* * *

И директор рассказывал – на днях будто бы случайно притащился Кустиков из ведомства. Нужно ли выложить ему наши требования? И вообще, что мы, институт, можем ему пообещать взамен?..

– Я в этом мало понимаю, Петр Трифонович, – говорила Дашенька, – но мне кажется, что первого шага нам делать не надо.

– Да?.. Почему?

– Кустиков – человек горячий, неровный. Сам все выложит... А тогда можно и подумать, что ему пообещать.

Директор и сам все это знал. И наперед именно так подумал и решил. Но, лишний раз перезваниваясь с Дашенькой, он как бы любил убедиться в своей правоте. «Светлая голова у девчонки», – думал директор, и так он думал всякий раз, когда вешал трубку.

Звонили Дашеньке и другие люди. Потому что и другие люди устроены так, что им нужны мягкие слова и спокойные советы. И кроткая улыбка тоже играла свою роль – вокруг немало женщин с влиянием, но все они своенравны, нервны, задержаны. А Дашенька – нет.

Что касается цветов, то на Восьмое марта их понесли целую гору. Квартира была завалена сплошь, были и мимозы, были и розы. Дашенька и Андрей праздновали вдвоем, он и она – и больше никого. Получился прекрасный семейный вечер, они выпили вина, а потом Андрей пел под гитару.

В дверь звонили.

– Опять тебе цветочки, – смеялся Андрей.

Дашенька открывала.

Пришедший, как правило солидный и очень смущенный человек, откашливался и говорил все то, что положено говорить в этот день. Жал руку. Андрей откладывал гитару и звал солидного человека «пропустить стаканчик саперави» – после вина и двух добрых слов человек уходил совершенно просветленный.

Андрей смеялся:

– Ну, Дашуля, ты – верх совершенства... Еще чуточку стиля, и ты станешь самой влиятельной молодой женщиной в Москве!

Из принесенных коробок конфет Дашенька и Андрей построили пирамиду, пирамида доходила им до пояса. Они шутили, смеялись, вечер был замечательный. И оба – Андрей и Дашенька – думали, что, может быть, это и называется счастьем: двое любящих, и хороший вечер, и жилье, заваленное цветами. И еще одно умиляло Дашеньку: у Андрея не осталось ни друзей, ни приятельниц – только она одна. Только она.

* * *

И вообще Андрей как муж очень получшал. Он давным-давно ни на шаг не отлучался из дома, давным-давно не вмешивался в семейный бюджет и уже совершенно не протестовал,

если за Дашенькой кто-то вдруг начинал ухаживать, – все было «на отлично». Кроме одного... он был слишком говорлив. А ведь на говоренье уходит много сил.

– Ну прошу тебя, Андрюша... Ну помолчи, – вздыхала Дашенька.

Едва она приходила домой, он тут же открывал рот. И что-то объяснял, что-то рассказывал, хотя вполне мог бы помолчать. Получалось, что в квартире шумно, – у Дашеньки уже сил никаких от него не было.

– Я, Дашуля, пытаюсь молчать... Но не получается, – оправдывался Андрей.

– А ты попробуй.

– Пробую – но ведь не получается.

– Учти: чем меньше тебя слышно, тем ты для меня милее.

– Но мне же поговорить хочется...

Они крупно поссорились, Андрей даже руками махал. Пришлось прибегнуть к серьезной мере – у Дашеньки сердце обливалось кровью, но что было делать. Дашенька взяла отпуск и уехала на юг. А он остался круглые дни сидеть дома и учиться молчанию. И ведь чем больше он будет молчать, тем больше он напишет статей. Перед отъездом они помирились, на перроне Дашенька всплакнула.

* * *

– Дашенька, – Андрей звонил на юг, – я научился, родная, кашу варить.

– Умница!

– Разумеется, не так, как у тебя, но все же получается вкусно.

– Андрюшенька! Если бы ты знал, как здесь хорошо. Не море – а чудо чудес. Я ведь никогда не видела моря...

– Отдыхай, родная.

– Как работа?

– Тружусь. Пыхчу, как старый паровозик.

– Ты мой милый и старый паровозик.

– А ты моя ласточка.

В конце разговора он уточнял: как все-таки варить кашу? Никаких каш он не варил, это он лгал, чтобы успокоить Дашеньку и чтобы загорала она у моря с легким сердцем. Питался он хлебом и чаем.

А на исходе последней разговорной минуты Андрей делал шаг к окончательному примирению:

– Дашенька... Я... Я учусь молчать.

– Учись, родной. Вот ведь ты какой милый.

Дашенька уже очень загорела. По утрам она смотрела дельфинов, они играли в море совсем как люди. А вечером Дашеньку ожидала уже сладившаяся и совсем неплохая компания – молодые женщины и мужчины.

Была, например, среди них Елена Скворцова, которая каждый день меняла туалеты, такая вот модница, – ее не видели дважды в одном и том же платье, ее не видели дважды в одном и том же купальнике.

Был в компании и молодой кинематографист по имени Кеша – он прекрасно плавал кролем. Он вообще был довольно интересен и давал понять Дашеньке, что она ему по сердцу, он многим молодым женщинам давал это понять.

* * *

Иногда Дашенька звонила своему шефу и интересовалась – как дела? Все ли в институте идет гладко?

Директор отвечал:

– Дела-то идут. Но скучаем без вас, Дашенька... Скучаем.

И это было правдой. В предприемной без нее стало вдруг безлюдно и пусто. «Вернется Дашенька, потолкую с ней, посоветуюсь – а уж тогда буду делать дело», – думал посетитель и, постояв в предприемной минуту-две, уходил прочь.

Жизнь в институте продолжалась, как и положено, но несомненно, что дни и часы этой жизни изменили свою окраску на более серенькую. На более тусклую, на более будничную. Потому что Дашенька – это уже была не только молодая, и ласковая, и смягчающая деловые неурядицы женщина. Это было уже понятие. Это было уже нечто из сферы образов – ДАШЕНЬКА. Как зелень листьев. Как весна, которая для человека не только весна и не только очередное время года. Как дождь, который для человека не только дождь.

Дашенька позвонила в Москву своей новой подруге Гале, велела зайти и провести Андрея – подействовало ли на него одиночество и научился ли он наконец молчать? пошел ли урок впрок?.. Дашенька догадывалась, что каш он не варит и что ему сейчас несладко. Но хватило ли этого для перековки? – вот вопрос.

И кажется, хватило.

Подруга Галя навестила и была поражена – Андрей был не только катастрофически худ, он еще и одичал. Он ни разу за все эти дни не выходил из квартиры. Отвык. Дашенька уж давно отучила его от улицы. Он был весь домашний. Он бродил по квартире и грыз сухую макаронину, от голода его шатало. Правда, мозг его функционировал и работать он продолжал – стол был завален листками, свежеиспеченными цифрами и формулами.

Галя сказала:

– Вы же дикий человек...

– А?

– Разве можно так жить?! Вы вот-вот протянете ноги...

Андрей молчал. Он только покорно улыбнулся. Теперь он без труда мог молчать и час, и два, и три.

Галя посоветовала:

– Сходите в магазин и купите еды. Хлеба. Масла. Сыр. Колбасу. И еще есть такие супы в пакетиках, если уж вы не умеете варить сами.

– И все это можно купить?

– Ну, разумеется.

Нечто такое, под названием «магазин», Андрей помнил, но помнил смутно. Он много дней не ел.

– И хлеба можно купить? – Андрей вдруг начал глотать слюну.

– Если есть деньги, конечно, можно.

– Вот так прямо даю им деньги – а они мне в обмен хлеб?

– Ну ясно.

Галя ушла, Дашенька строго-настрого наказала ей – не помогать оставленному и одичавшему мужу. Только навестить.

* * *

Она немедленно позвонила Дашеньке и доложила, в каком жутком состоянии находится ее муж.

– А как у него с речью? – спросила Дашенька.

– То есть?

– Он разговаривает?

– Да.

– Надо ему, видно, еще побыть в одиночестве...

– Смотри, Дашенька, не перегни палку.

– Я и сама уже волнуюсь. А что – он так уж плох?

– Еле двигается...

– Еле двигается, а все-таки говорит – ох уж эти мужчины... Как ты думаешь, сколько он еще выдержит?

– Дня три или четыре, не больше.

– Ладно. Завтра вылетаю. Думаю, он молчать все-таки научился... Спасибо тебе, Галя.

– Не за что.

– Спасибо. Ты настоящая подруга.

Дашенька последний раз поплавала всласть в море и теперь выходила из воды. На ней была голубая шапочка и нежно-голубой купальник, белокурые волосы чуть выбивались у висков. Она выходила из моря, рождалась из морской пены.

Воды уже было по колено – отмель. Дашенька выходила и улыбалась. Она дивно провела лето. И ведь Андрей научился молчать, теперь все в порядке, семья как семья.

Воды было уже по шиколотку, Дашенька выходила на сухой песок и не переставала улыбаться. Ей было двадцать пять лет. «Пора заводить ребенка», – подумала она. И уточнила: «Одного. Разумеется, одного. Жизнь все-таки нелегка...» И Дашенька опять улыбнулась.

Колышев Анатолий Анатольевич

Рассказ

К примеру, оказался не в духе заведующий библиотекой. Или ладно, чего там заведующий – просто дежурный библиотекарь, который стоит сегодня на выдаче книг и в данную минуту, стало быть, главный. Крупная и красивая женщина – она принимает у читателей книги и выдает, и голос ее весьма строг. А он, Колышев, допустим, билет свой читательский еще не продлил. Или дома забыл. Или иная провинность. Или совсем хорошо – кто-то начеркал на книге что-то вроде пушкинских головок, этикие милые женские профили. Притом не Колышев их начеркал, но могут подумать, что Колышев, потому что последний-то книгу читал он. И главное – он сам предчувствует, что могут на него подумать. И будто бы уже виноват. Будто бы пойман. Такая вот жила и таилась в Колышеве дрожь, не боязнь – а именно тихая дрожь, трепет, волнение, да и боязнь тоже.

И вот библиотекарь – деловитая и строгий голос – раскрыла книгу, принимает ее. Вот и страницы исчерканные, профили. И Колышев, который только сейчас об этой не своей вине подумал, вдруг чувствует жар у щек – я, я, я, все равно не поверят, поймали! Он как бы уже и не он, а другой, тот самый, кто начеркал.

– Значит, не вы начеркали? – спрашивает строгая и красивая женщина.

– Не я.

– Ага. Значит, Пушкин, – и произносит это она, на Колышева вовсе не глядя.

Она штемпель в кондуит ставит. Она делом занята. И ведь удивительно – из людей вокруг (сзади парень стоит, две девушки сбоку) никто не сомневается в его, Колышева, вине и поиманности. Девушки даже подмаргивают ободряюще: «Не робей шибко. Чего там! С кем не бывает...» И уж конечно, не сомневается в его вине библиотекарь, у нее давным-давно полная ясность. А все потому, что Колышев дрожит сейчас той самой дрожью и трепещет тем самым трепетом, и все это чувствуют. Такое всегда чувствуется. И вот он стоит у всех на виду, молчит, красный и жаркий от стыда.

* * *

Окончив институт, Толя Колышев дал себе самому суровую юношескую клятву, что этот трепет и эту дрожь он в себе выведет, убьет.

Прежде всего он нацеливал себя не бояться будущего своего начальника. Готовился. Когда их распределили на работу, в тот же вечер он опрашивал ребят:

– А кто в нашей лаборатории начальник?

– Шкапов.

– Фамилию я тоже слышал – а что он за человек?

Ребята пожимали плечами:

– Откуда мы знаем. Человек как человек.

Но Колышев свое воображение уже разогнал. Начальник рисовался ему человеком суровым и величественным, голос начальника Колышев тоже наперед слышал – от этого баса по спине бежали мурашки, ну и в коленях, конечно, вата и слабость.

Но, разумеется, в душе начальник был добр и справедлив. И недоумевал. «Чего это мои подопечные меня побаиваются? – думал этот воображаемый начальник. – Что за заячьи души, ей-богу. Хорошие работники, славные парни, а в коленях какая-то слабость. Единственный, кто из них, из новеньких, держится нормально, – это... как его... Колышев».

И с мыслью, что надо с этим юным сотрудником познакомиться поближе, начальник однажды вызывал Колышева к себе в кабинет.

Далее у Колышева сердце замирало. Но и с замирающим сердцем он, пересиливая себя, вновь и вновь разыгрывал «сцену в кабинете» – она растягивалась иной раз до бесконечности, и был в ней, конечно же, этакий сладковатый и мятный привкус. Колышев подсказывал самому себе достойные фразы. Спорил с начальником. Стоял на своем. И так далее. А иногда – он просто покачивал головой – дескать, я с вами не согласен.

* * *

Шкапов оказался начальником не столько суровым, сколько крикливым. Кричал он по любому поводу – на Колышева пока не кричал, но, когда кричат на другого, ты это тоже чувствуешь и тоже вбираешь, потому что не сегодня-завтра это ждет и тебя... В ожидании Колышев ходил сам не свой, а слыша издали, как распекают кого-то, бледнел и краснел.

– Надо опередить Шкапова, – повторял он сам себе. – Каким-то образом опередить и поговорить с ним всерьез.

Мысль была ясная:

– Надо уметь себя поставить... Но как?

И он уже совсем было решился прийти к Шкапову и провести ту самую «сцену в кабинете», но тут Шкапов повез их всех в командировку – не всех, конечно, но человек десять, пол-лаборатории... Приехали. Расположились. Гостиница была обычной местной гостиницей, Шкапову, понятно, отдельный номер, блага всякие, а остальных, как горох ссыпали, куда попало. Колышеву и вовсе – как самому молодому – поставили раскладушку в коридоре. Первую половину ночи Колышева терзали уборщицы, мыли пол и что-то переставляли, двигали. А ближе к утру на его раскладушку начинали наткаться выходящие украдкой из гостиницы женщины и мужчины – они пугались и вскрикивали.

С утра сели заседать – план работы и прочее, а Колышев явился злой и невыспавшийся, и у него даже в глазах потемнело, когда он увидел своего крикливого и розовощекого шефа. И тут-то, на заседании, уловив малейший повод, Колышев вдруг громко и грубо сказал:

– Только не орите на нас... Вы уже дома, в Москве, на нас власть наорались!

– Я?.. Почему же я буду орать, с чего вы взяли? – обиженно ответил Шкапов, не ожидавший и врасплох застигнутый.

Именно так ответил, с извиняющейся интонацией: «Ну что вы. Зачем же я буду орать на вас?» – и мягко, и тихо, и Колышев увидел вдруг, что никакой это не зверь. И что, может быть, он, Колышев, грубость шефа преувеличил от страха. И сам себя напугал, бывает же. Вон ведь лицо у Шкапова какое – жалкое. «Ну почему же я буду на вас кричать?» – переспросил Шкапов тихо, и за всем этим всплывала простая человечья обида.

Но Колышев стоял на своем.

– Знаю я вас, Шкапов. Сладко поете! – вколотил он точку. И только после этого смолк.

В таком качестве Колышев прожил почти две недели. Грубая, но какая же ясная была взята нота – и ведь уважали, он числился среди «отчаянных и желчных», сам Шкапов, а за Шкаповым и остальные – чуть что – и огибали в разговоре с Колышевым острые углы. «Хороший парень, но характер тяжелый», – говорили о нем и, конечно же, не знали его, не понимали, а он прямо-таки купался в волнах этой характеристики. В волнах образа, который он сумел случайно создать, как создают актеры нечаянную и подвернувшуюся роль. И даже администратор этой захолустной гостиницы зауважал его, прислал человека: не хочет ли Колышев в освободившийся номер? Ну, разумеется, с кем-то вдвоем или втроем, а все же номер и с действующим душем. «Плывать я хотел, – ответил Колышев, не дослушав, – и на него, и на его номер. Так и передай».

Конечно, чтобы жить в этом образе, нужно остервенело и с молодой злостью работать – Колышев понимал это, так он и работал. Он жил как в опьянении. Ночью бросал свое намотавшееся тело на раскладушку и думал: «Господи. Вот так бы только и жить!» – и в то же время он уже начинал понемногу чувствовать, что неожиданный всплеск этот кончается, сходит на нет. Роль – это роль, не больше. Как из надувного шарика, из Колышева постепенно вытекало и уходило что-то...

И вот была ночь. Колышев лежал на раскладушке – тишина в коридоре, а вдали окно серебрилось от высокой луны. На минуту в угловом номере зашумела веселящаяся компания, опять тихо.

Колышев лежал и уже думал о том, что Шкапова-то и пожалеть, пожалуй, можно. Трудно ему – через два дня уезжать, отчет предстоит, а тут еще прибор акустический весь поржавел, много тысяч стоит. И, ясное дело, все винят Шкапова, дергают, нервируют, клюют, а ведь семья у человека, и дети, и плешь на башке...

Колышев услышал шаги – подошла женщина. Приостановилась. Она была из того углового номера, где гуляли.

– А чего вы тут?.. Мест нету, да? – Она видела, что он ворочается, не спит. – Не нашлось места? – она посмеивалась с пьяненьким предрасположением к болтовне.

– Ничего, – сказал Колышев, – и здесь спать можно.

– А не мешают?

– Привык.

– А я здесь раньше полотером работала. Знаете, с этой штукой: ж-ж-ж... – И она расмеялась.

Колышев подпер голову рукой, и некоторое время они поболтали ни о чем.

* * *

Утром следующего дня он явился к Шкапову в номер и сказал:

– Вы, ради бога, простите меня.

– За что? – спросил начальник, то есть тот же самый Шкапов его спросил, и интонация та же, да только Колышев был уже не тот. Выдохся.

– Я ведь по-хамски вел себя все время. Я ведь не такой. Не хам. И я понимаю, что такое человек... – Эти слова были еще туда-сюда, в них что-то было, какая-то кость и крепость, а вот дальше совсем уж пошел лепет, дыхание сбилось, и Колышев только мямлил и мямлил.

Шкапов не ожидал; пожалуй, даже слегка смутился. Но затем подтянул и подровнял свой сочный голос:

– Что ж. Я рад, когда кончается миром.

– Вы не подумайте, – продолжал Колышев. – Я... я вот думал о вас. Как о человеке... Я... я ведь ночью лежал и думал...

Это был лепет и даже хуже, чем лепет, тут было такое незащищенное и откровенное, что Колышев не мог бы и себе самому объяснить ту униженность. Он стоял и что-то бормотал, колени дрожали, и лоб был взмокший.

Через неделю Колышев уволился и перешел на новое место. Но место было новое, а трепет и дрожь были старые, – правда, теперь это было запрятано в Колышеве поглубже.

* * *

С женщинами Колышев тоже был робок. Но все же влюбился и даже собирался жениться – кратенькая пора, когда новый начальник, и бас его, и шаг его, и кабинет вроде как перестали существовать и совершенно не волновали Колышева.

Колышев этой своей освобожденностью был так поражен, что тут же выложил все своей любимой, звали ее Зиной, шел первый час ночи – они как раз лежали в постели, а сна не было.

– Такая вот штука, Зина, – объяснял Колышев, – я с тобой встречаюсь, и на моего шефа мне почти наплевать!

Он улыбался в темноте:

– Странно-то как... Смешно, а?

И опять улыбался:

– Я даже забываю с ним поздороваться. Не замечаю его. С тех пор как с тобой...

– Ты его боишься – начальника?

– Боялся.

– А я свою хозяйку боюсь, – засмеялась Зина.

– Подожди. Дай мне сказать. Слушай, – Колышев взволновался, – я никогда не рассказывал об этом. Никогда и никому. Во мне есть странная робость...

Зина покачала головой:

– В другой раз расскажешь – ладно? Иди домой.

– Подожди.

– Поздно, Толик... Хозяйка в эти ночи чутко спит.

Зина училась в медтехникуме, она и ее подружка снимали комнату – подружка на неделю уехала погостить, но хозяйка была тут как тут, за стенкой.

Колышев оделся и вылез через окно. Как обычно. Он стоял у окна и не уходил – квартира была на первом этаже.

– Кто знает, – продолжал он рассказывать Зине, – может быть, на меня в детстве кто-то громко крикнул. Или испугал кто-то. А теперь я потихоньку избавляюсь от этого – верно?

Зина не поняла. Но на всякий случай сказала:

– Я тоже в детстве тонула.

Зина была в светлом халатике и вырисовывалась на темном квадрате окна – она облокачивалась на подоконник. А Колышев стоял у самого окна и смотрел на нее снизу вверх.

– Зина... Зина... – Он почувствовал, что задыхается. – Люблю тебя – слышишь?

Она улыбнулась:

– Иди спи. Поздно уже.

Луны не было. Но были звезды – и было тихо, тепло, август.

* * *

Кое-что Зина поняла, не столько поняла, сколько почувствовала, – теперь она сама спрашивала Колышева о его робости, о трепете, о боязни окрика, и женское чутье нашептывало ей, что чем больше он выговорится и выложится, тем ему легче. И Колышев выговаривался, веселел, захлебывался от слов, это как у солдат, которые перед боем с удовольствием рассказывают о своем страхе.

Прошло полгода, Колышев бегал на лыжах, Зина писала письмо своей двоюродной сестренке: «...парень у меня есть, но малость чудной. Начальник у него, видно, злющий, потому что мой Толик до смерти его боится. Каждый день провожаю его на работу, как в бой, – с уговорами. А вообще парень он симпатичный, фото его я тебе обязательно к майским праздникам вышлю».

Зина была маленького росточка, простенькая и добрая, любила поваляться в воскресенье в постели. Если совсем уж размечтаешься и разнежишься, видится бог знает что – ей, к примеру, виделось, что ее Толик вконец поссорился со своим грозным начальником и чуть ли не подрался – его взяли в милицию, – и вот, весь почему-то избитый, в синяках и кровоподтеках,

он приходит, и Зина за ним ухаживает. Она первым делом его перебинтовывает. Укладывает в постель. Поит чаем. А потом садится рядышком, и они говорят о том и о сем...

Они разошлись – и каждый жил своей жизнью. Опять был август, тепло и тихо, звездопад, ровно год они были вместе.

* * *

Колышев сблизился на некоторое время с одной журналисткой – на ней он тоже собирался жениться, и тоже как-то не вышло. Журналистка была умна, знала массу новостей, плела разговор как хотела, искусница, но общаться от этого с ней было не легче, а труднее – холодно было, жестко, лишний часок не подремлешь.

– Со мной бывали странные штуки, – начал Колышев однажды, осторожно и издалека, – робел я перед начальником. Боялся.

– Ты? боялся?.. Шутишь?

– Почему ты смеешься?

– Такие, как ты, не боятся начальников.

– Это почему же? – Колышев рассмеялся.

Журналистка только пожала плечами – она считала, что слишком хорошо знает людей, ее не проведешь. Тем паче мужчин. Насквозь их видит. Она сочла, что Колышев попросту рисуется. Мужик сильный, здоровый. Вот ему и хочется иметь внутри некое мягкое местечко.

Колышев слегка обиделся. Во всяком случае, надулся.

– Ну ладно, ладно, – сказала журналистка, снисходя, – ты у меня сла-а-бенький, ты у меня ма-а-ленький. Ты у меня до боли ранимый. (Это ж модно! – и почему человеку не сказать приятное?)

И при этом она гладила его по голове. По плечам. По шее. Пока он не сообразил, что с ним играют.

– Перестань, – сказал он. И больше уже никогда и ни с кем этого разговора не заводил.

* * *

В его пугливости никто не верил, это характерно. Колышев, в силу привычки приглядываться к начальнику, первым заметил появившуюся у шефа слабину – другие и знать не знали. Слабина была обычная, ходовая, состояла в том, что начальник с возрастом стал человеком с ленцой. Со склонностью уехать на рыбалку. Или закатить к знакомым и там покейфовать за винцом и приятным разговором.

И однажды к Колышеву подошел знакомый инженер – стал жаловаться, что лишили премии. Их всех лишили, потому что отдел затянул сроки работы.

– А ведь как кстати были бы сейчас деньжата! – сокрушался инженер.

Колышев прятать свою мысль не стал. Сказал что думал:

– В начальнике дело.

– В начальнике? – переспросил инженер.

– Наш Петр Евстигнеевич с ленцой. Раскачивается долго... Отдел мог бы работать куда интереснее.

– С ленцой? Ты думаешь... А ты прав, пожалуй.

И тут Колышев затрепетал – ведь получилось, что он, Колышев, неспроста словцо пустил. Ведь так и роют начальнику яму, так и подсиживают. Некрасиво...

– А ты смелый, – сказал инженер.

– Какой я смелый. Я вот сказал тебе, а у самого сердце в пятки ушло.

– Ну уж конечно! – подмигнул инженер. Похлопал Колышева по плечу и звонко захохотал.

* * *

– Колышев! – как-то окрикнул его начальник в коридоре. Это был новый начальник, сменивший Петра Евстигнеевича. Колышев был далеко, шагах в двадцати, шел обедать, и потому начальник позвал его звучно и громко. – Колышев!..

Колышев подошел – пока он подходил, лоб его покрылся испариной.

– Скажите, Колышев, почему вы всегда так дерзко со мной разговариваете? – спросил начальник.

Но Колышев уже оправился, окрик пробивал его нутро лишь на пять-десять секунд, не больше.

– Дерзко? – переспросил он.

– Конечно, мой дорогой. Очень дерзко. Даже грубо... Все разговаривают как люди, а вы?

– Видите ли, – спокойно объяснил Колышев, – это у меня от самоутверждения. От слабости характера. Я либо говорю грубовато, либо начинаю мямлить и заикаться, как ребенок... Это с детства.

Начальник подумал. И оценил.

– Ну если так... – И, прощаясь, он мягко и чутко кивнул Колышеву.

* * *

Колышев вынырнул – он уже сам был теперь начальником лаборатории, притом большой и известной лаборатории, а не той, в которой когда-то начинал. Был у него и собственный кабинет с добротной мебелью. Были свои аспиранты. Были свои молодые ученые. И не было, разумеется, ни дрожи, ни трепета, ни боязни. Это случилось вдруг. Это случилось разом – едва он стал начальником, вполне самостоятельным и достаточно независимым. «Может, в этом и разгадка», – подтрунивал Колышев сам над собой.

Да и вообще забыл об этом.

* * *

Колышеву было сорок, он полнел, солиднел, не видел плохих снов, но уже чувствовал, что пора бы обзавестись семьей. Рассказывают, что он собрал трех своих аспирантов и, переговорив с ними по делу, сказал:

– А теперь – не по делу.

И спокойным голосом объявил им, что хочет познакомиться с хорошенькой женщиной. Он не сказал, что хочет жениться, – понимал, что этого лучше не говорить.

– Если у вас будут намечаться какие-нибудь вечеринки, приглашайте и меня – приду.

И отпустил их, нисколько не беспокоясь о возможных пересудах и сплетнях, уверенный человек, сильный.

Аспиранты сбились с ног, устраивая вечерние сборища для своего могучего шефа, было много хорошеньких женщин, было много тостов и застольных песен и веселья, – но могучий шеф что-то не спешил. И уж сидел-то он в самом центре, и говорили о нем без конца, и уж, конечно, все, а значит, и приглашенные женщины, были счастливы чокнуться с Колышевым – но что-то, видно, не срабатывало.

На аспирантов было больно смотреть. Все трое осунулись и заметно похудели.

* * *

Колышев женился, когда вновь стал ездить в командировки, теперь уже в качестве шефа. Это были очень недолгие и очень престижные выезды – Колышев курировал работу специализированных лабораторий.

В поезде, в одном купе с ним, ехала тридцатилетняя женщина, преподаватель теоретической физики. Она была довольно стройная, худая, чуть-чуть чопорная и без очков.

– Здравствуйте, – сказала она, войдя.

– Здравствуйте, – ответил Колышев.

Они были лишь двое в купе, как в романе. И через некоторое время женщина сказала:

– Вы мужчина. Вы должны бы первым представиться.

– Да? – смутился Колышев. – Извините. Я всех этих правил хорошего тона не знаю. То есть знаю, но помнить не помню.

– Это заметно.

И вот Евгения Сергеевна с первых минут стала его школить. Потом она вышла за него замуж – и продолжала школить. Она не сделала перерыва ни на день.

Она любила говорить:

– У меня педагогическая жилка.

И, улыбаясь, добавляла:

– Ярко выраженная.

Но, в общем, они ладили. Она родила ему сына – маленького, боязливого Колышева Витюшу, мальчик пускал пузыри и часто плакал. Замечали, что Колышев с удовольствием позволял жене школить себя, он чувствовал, что ему нужен некоторый лоск после столь долгой холостяцкой жизни, недостатки надо исправлять, главное – их не стесняться.

А когда Колышеву Витюше стало семь лет и он пошел в первый класс, Колышевы уже представляли собой дружную и спаянную временем семью. Без трений.

* * *

Колышев стал заместителем директора НИИ по научной части. Фактически крупнейшая фигура в институте. Колышев Анатолий Анатольевич, только так.

Известно, что, разъезжая по делам, Анатолий Анатольевич случайно застрял на целых два дня в том самом городишке, куда ездил когда-то в первую свою командировку. И, разумеется, оказался в той же самой гостинице, других не было. Но только не в коридоре, разумеется, ночевал он теперь. Не на раскладушке.

И стены, и коридор, и обстановка что-то ему напомнили, но что – Колышев угадать не смог. Морщил лоб, вглядывался, но не вспомнил. Забыл. От всего этого случилась бессонница. В добротной теплой пижаме Колышев вылез в коридор и принялся мерить его мягкими ночными шагами.

По пути – а пути было метров двадцать с небольшим – приходилось огибать раскладушки. Их было три, на них спали. И это тоже подспудно волновало Колышева. В коридоре была лишь одна тусклая лампочка. Спящие посапывали, у них были лица, какие и должны быть лица у спящих в коридоре.

– Ну и дыра, – проговорил Анатолий Анатольевич, не особо даже сердясь на случай – у случая, как известно, свои плюсы и свои минусы.

В одной из комнат шумели. Мужские веселые голоса. И женские тоже. Появилась дежурная – заглянула в эту комнату.

– Мы... да они у нас только на часок... Да разве нельзя? – возмущался молодой мужской голос.

Начались выяснения – что можно и что нельзя.

– А вот я напишу докладную, кого вы приводите, – говорила дежурная.

– Ну и пишите!

– Вас завтра же выставят из гостиницы – ищите тогда себе место в городе!

Дежурную пытались улестить, усаживали за стол, булькали вином в чистый стакан. Но она стояла на своем. И настояла.

И вот, зябко поеживаясь и торопливо, вышли две женщины – и быстренько-быстренько исчезли. Ушла и дежурная. В номере погас свет. Тишина.

А Колышев все ходил и ходил. Он ходил взад-вперед по коридору – высокий, полный, тяжеловатый человек в пижаме. И не понимал, почему он не спит.

К одной из раскладушек суетливо подошел молодой паренек, вдруг появившийся среди ночи.

Паренек осторожно подергал за одеяло.

– Товарищ Шкапов, – будил он, – вам телеграмма, товарищ Шкапов.

Спящий приподнял голову. Это был пожилой, седой человек. Прочитал телеграмму, глядя в еле различимые буквы.

– А-а ч-черт, – ругнулся он со сна, – мог бы принести ее завтра.

– Я думал – важное что-то. Я ж не вскрывал.

– Ну иди, иди.

Но паренек сразу не ушел.

– Товарищ Шкапов, вы извините, что вам пришлось здесь спать.

– А?

– Извините, говорю. Тот хороший номер оказался занят. Какая-то шишка из Москвы... Мне обещали этот номер для вас, но понимаете...

– А?.. Ну черт с ним. Дай же мне спать.

Но паренек не уходил.

– Я старался, товарищ Шкапов. Я очень старался...

Потом он ушел.

Колышев шагал в тишине, миновал одну раскладушку и вторую, миновал и этого спящего старика, у которого, как выяснилось, он забрал лучший номер. «Шкапов... Шкапов... Что-то знакомое. Где я слышал эту фамилию?» – думал Колышев.

Но так и не вспомнил.

* * *

Как-то возвращаясь из института домой, Колышев остановил машину возле аптеки – при- тормозил, встал, все честь честью – и вошел в аптеку, чтобы взять для жены лекарство.

– Пожалуйста. – И Колышев, когда подошла очередь, подал рецепт.

– Этого лекарства сейчас нет.

– Как так – нет?

– К нам не поступало.

Быть этого не могло. Колышев с утра специально звонил, и ему сказали – вот-вот завезут.

– Я звонил. Я этого так не оставлю!.. С утра был завоз. Я... – И тут он осекся. – Зина?!

– Что?.. Ах ты, боже мой – Толик!

Она тоже его узнала – из полуовального окошечка улыбалась и глазами, и ртом, и вообще всем лицом.

– Ну... ну а как же лекарство? – сказал Колышев, приходя в себя.

– Нет... лекарства.

Люди в очереди стали шуметь и переминаться с ноги на ногу.

Зина сказала:

– У нас обеденный перерыв. Через пятнадцать минут.

– Я подожду возле аптеки.

– В скверике, ладно? На левой стороне...

Колышев быстро двинулся к выходу, потому что очередь была накалена добела – перерыв, все хотели успеть.

И вот – встреча в скверике, с крыш течет, апрель.

Он рассказал Зине, что женился поздно, но все же женился – ребенку десять, мальчик, в школу ходит, шустрый такой пацаненок. «Поздно, а все же женился удачно. Бывает же так», – рассказывал Колышев.

– Это самое главное, – солидно заметила Зина. – Человек так устроен. Как у него в семье, так и в жизни.

Колышев согласился – что да, то да. И спросил:

– А ты как?

У Зины были две дочки. Обе уже замуж вышли. Обе уже родили по ребенку.

– Так ты уже бабушка?

– Да. И колясочки катаю в скверике...

Помолчали.

– Мне сорок восемь, – начала считать Зина, – значит, тебе...

Она не помнила. И Колышев подсказал:

– Пятьдесят два.

Они сидели на скамеечке в скверике – недалеко от аптеки. Была весна. Люди шли мимо, торопились. А у ног, у самого края лужи, гомонили воробьи.

Оба были люди полные, солидные, особенно Зина. На улице он бы ее не узнал – низенькая, и грузная, и медлительная женщина. С красноватым, кирпичного цвета, лицом.

– Знаешь, как я узнал тебя?.. Лицо в вашем аптекарском окошечке получается как в овале. Как фото...

Но Зина была настроена поговорить о более реальном. Она стала рассказывать о своих дочках – всю себя на них потратила, такая судьба, обе болеют. Что ни год – попадают в больницу. Обе плохо вышли замуж. Обе трудно живут... Вот и вся жизнь пролетела.

– А я всю жизнь цифры пересчитывал, – усмехнулся Колышев.

Они сидели рядом на скамейке – почти чужие, далекие, потратившие жизнь каждый на что-то свое.

* * *

О лекарстве они вспомнили в самом конце разговора.

– Лекарство привезли, – сказала Зина. – Я слышала, что привезли. Но мало.

– Я так и думал.

– В продажу не поступило. У нашей заведующей, у Вероники Петровны, какие-то свои планы насчет распределения.

– Какие планы?

– Не знаю. Я человек маленький.

И тогда Анатолий Анатольевич заявил:

– Она не имеет права этого делать!

Тут же выяснилось, что Зина побаивается. Конечно, поговорить с заведующей можно, но боязно...

– Что? Боязно? – Колышев не понимал. – Почему?

– Боязно...

– Но почему? – И Анатолий Анатольевич с улыбкой объяснил Зине, что бояться начальства совершенно не следует, все мы люди, все мы одинаковы. И более того – если правильно и толково объяснить, начальник всегда уступит.

– Ой, не знаю, – сказала Зина.

– А я тебе говорю – уступит.

И, улыбаясь, Анатолий Анатольевич встал со скамейки:

– Мы, Зина, сейчас же пойдем к твоей заведующей. И поговорим с ней. Спокойно и убедительно – главное, чтобы было убедительно.

– Может быть, ты один пойдешь?

– Я могу и один. Но, по-моему, тебе полезно посмотреть, как это делается.

Они пошли вдвоем. И действительно, Колышев легко и просто доказал заведующей ее неправоту. И лекарство добыл. И, разумеется, не только для себя одного – редкое лекарство тут же поступило в продажу.

– Вот видишь. Ничего хитрого тут нет, – сказал Анатолий Анатольевич, прощаясь.

Зина (Зинаида Сергеевна) не сводила с него сияющих глаз:

– Ух как ты ее!

– Понравилось?

– Очень!

Они простились. Колышев перешел на ту сторону улицы, сел в машину и уехал домой. А еще через месяц Зинаиде Сергеевне пришлось уволиться «по собственному желанию».

* * *

Зинаида Сергеевна пообивала пороги, побегала, но в итоге, чтобы работать по специальности, пришлось устроиться в другом районе – в больницу сестрой. Правда, человек она была старательный, и руки что надо, и медтехникум за плечами – так что уже через год она стала старшей медицинской сестрой.

В общем, эта работа ей даже больше нравилась, чем прежняя. Все-таки люди, все-таки не просиживание в аптеке.

Мужу она объяснила, что история получилась из-за одного старого знакомого, которому она взялась помочь.

Муж отчитал:

– Думать надо. Тебе уже полста лет, слава богу... В такие годы с работы на работу не бегает. Не девочка.

* * *

Но зато здесь жил Колышев – в том самом районе, где теперь работала Зинаида Сергеевна. Более того: ее больница и его дом – неподалеку.

Теперь Зинаида Сергеевна знает, что Колышев – это крупный начальник и ученый, – Анатолия Анатольевича, и его жену, и даже его сына здесь знают все. И потому Зинаида Сергеевна робеет. Она испытывает некую дрожь и некий трепет, даже когда видит его из окна; что там ни говори, а ведь большой и уважаемый человек. И утром Зинаида Сергеевна старается побыстрее и пораньше проскочить некий асфальтовый пяточок.

Но бывает, случай подводит, деться уже некуда.

– Здравствуйте, Анатолий Анатольевич. С добрым утром.

– Здравствуй, Зина.

Колышев пересекает пяточок и садится в машину.

А Зинаида Сергеевна спешит в больницу. Иногда она думает о Колышеве – ей представляется, что когда-нибудь (не дай бог, конечно!) он поступит в отделение, где она работает. Большие люди частенько прихварывают, ну там сердце пошаливает, или печень, или просто нервы.

И вот она будет дежурить – следить, как сестры дают ему порошки или берут из вены кровь. Сама Зинаида Сергеевна сейчас уже старшая сестра всего отделения, порошками она не занимается, но, скажем, ответственное переливание крови или что-то иное – это она умеет сделать на высшем уровне, не нервируя врача и не мучая больного. Свое дело она знает. Ей придется посидеть у его постели – Колышев небось обрадуется. Она сядет неподалеку, и они побеседуют. Поговорят о том и о сем.

Пойте им тихо

Рассказ

Однажды палату посетил знаменитый профессор.

Он бегло просмотрел «дела» больных и еще более бегло прошел вдоль коек. Он входил в палату и почти тут же выходил. Он прямо-таки промчался. Однако он сделал одно замечание. Выйдя из этой палаты, он сказал лечащим врачам:

– Меня не так беспокоят их сломанные позвонки и суставы. Меня беспокоят их головы.

Он пояснил: он сказал, что больные этой палаты какие-то слишком подавленные. Вот именно, с подавленной психикой. И что одного этого предостаточно, чтобы остаться неполноценным и уже никогда не выкарабкаться. У ямы есть края.

Лечащие врачи согласно закивали головами: да, да, конечно... психика – это важно. На самом деле почти все они ему не поверили. Они решили, что «светило» слегка чудачествует. Главное, разумеется, было починить позвонки и суставы. А уж если очень понадобится, то пусть после починки делом займутся психологи и психиатры. Каждому свое.

* * *

О психике больных врачи, разумеется, не забывали. Они изо всех сил старались поддерживать в них дух бодрости. И постоянно напоминали, что больные должны быть сильными и мужественными, они ведь мужчины. И это не беда, что их палата считается «тяжелейшей», это условность, не более того; досужая болтовня нянек.

Больных было трое. Им было наплевать, что их палата считается «тяжелейшей». Их мучили боли, и было жаль себя. Им было тягостно смотреть на летние облака в окне. Им казалось несправедливым то, что за окном лето в разгаре, а у них сломан позвоночник. Они часто плакали, жаловались и все такое.

Один больной поначалу все же отличался: боль он превозмогал. Фамилия его была Щербина. На утреннем обходе, несмотря на боль, он врачам улыбался. Профессия его до травмы была монтажник-высотник.

На обходе он говорил всегда одно и то же. Он говорил сдержанно. Он был как образцовый солдат рядом с сеном-соломой.

– Не болит. Не болит. А здесь болит, но не очень.

И еще отвечал:

– Спасибо. Все хорошо.

И это не было бравадой или примитивным желанием выделиться. Это была установка на волю. Даже ночью, когда боль грызет всю, он умудрялся сдерживать стоны. Или стонал еле слышно. Кряхтел. А когда медсестра подходила с обезболивающим наркотическим уколom, он вытирал крупные капли со лба и говорил:

– Подожди, сестреночка. Давай еще полчаса потерпим. Может быть, мне удастся выдержать.

Его лечащий врач не мог нарадоваться, такой больной – это дар божий. Втайне врач и сам завидовал столь цельному характеру. И на всех важных обходах подчеркивал, что Щербина до травмы был высотником. Дескать, вот видите.

Время от времени Щербина говорил:

– Ну что, станишники? Поделаем дыхательные упражнения?

И он начинал. Раз, два. Раз, два! Если бы он просто делал упражнения, это одно. Это терпимо. Но он непременно хотел кого-то втянуть в разговор. А сам продолжал ритмично размахивать руками.

– Заткнись, – говорили ему.

– Нет, ты ответь: чего ты лежишь пластом? Ты же совсем захиреешь.

– Не твое дело.

А Щербина смеялся, смеялся через боль и через боль работал руками. Раз, два. Он не прекращал этого, даже если входил врач с сугубо деловым видом. И врачу это нравилось.

Присев возле больного, врач повторял:

– Надо быть бодрее. Вот посмотрите на Щербину. Вот вам пример.

– Может, мне и курить бросить? – огрызнулся больной.

– Я, кажется, этого не сказал.

– Вот и спасибо вам.

На больных не обижаются. И продолжают разговор. И врач не обижался. Продолжал разговор. Сам человек курящий, врач чуть позже оглядывался на соседнюю койку:

– А что, Щербина, вы разве бросили курить?

– Бросил.

Врач, а это был опытный хирург, что называется выдавший виды, только покачал головой: дескать, что тут еще скажешь!

* * *

Тот больной, что огрызнулся: «Может, мне и курить бросить?» – был тоже с переломанным позвоночником. Фамилия его была Орлов. Он был, как говорили больничные няньки, самый читающий. Он читал книгу за книгой, и это были книги, где много стреляли, где запросто ломались суставы и позвонки, но люди продолжали разговаривать и действовать, продолжали скакать на лошадях и погружаться в подводных лодках. При этом большинство успевало сделать и совершить что-нибудь удивительное.

Но удивительное не удивляло Орлова, он даже не придавал этому значения. Дочитав книгу, он тут же хватал другую. Он должен был все время читать, у него была никудышная психика. Стоило ему остаться без дела хоть на минуту, его мучили страхи. А если он упорствовал и боролся со страхами, случался затяжной нервный приступ.

И больше всего на свете самый читающий не любил высотника Щербину. Они лежали рядом. Щербина был громаден, а Орлов хрупок и тонок.

* * *

Щербина не только бросил курить. Он умел на порядок ослабить свою боль. Он умел сбить повышенную температуру на целый градус. Причем никакого обмана тут не было. Только сила самовнушения.

Щербина достал два современных курса о системе йогов. Лекции были напечатаны машинописным способом, на хорошей бумаге и почти без ошибок. Правда, читать вслух эти штуки больные ему не разрешили, а он хотел читать именно вслух.

– Эх вы! – возмутился он.

И сказал, что он все-таки будет читать вслух, потому что старается не только для себя. Дело едва не дошло до скандала.

Как-то утром Щербина вдруг закричал:

– Шевелится! Клянусь, шевелится!

Прибежала сестра. А через некоторое время врач. Щербина показывал им, как зашевелился палец на его, казалось бы, мертвой ноге. В наступившей тишине под неверящими взглядами палец произвел легкое крохотное подрагивание. И еще одно подрагивание. И еще. Если позвоночник сломан в поясничном отделе, почти всегда отнимаются ноги. А оживать, как всем было известно, нога начинает с пальца.

Щербина рассказал, как он добился этого. Он посылал мысленно импульсы. Он приказывал своему пальцу: «согнись» – «разогнись». Он посылал ровно тысячу таких приказов ежедневно. Каждый день.

Факт подействовал сильнее, чем легенды о йогах. Весть прокатилась по всем палатам. Теперь по утрам больные параллельно с Щербиной – минута в минуту – делали дыхательную гимнастику. Некоторые посылали импульсы. Больных в отделении, если считать все палаты, было сорок человек.

* * *

А за два дня до операции Щербина притих. Он замолчал. Не шутил и не пытался втянуть в разговор. К ночи он стал нервничать и сказал сестре, что боится.

Он вдруг сказал, что ночь ему кажется очень длинной. Он повторил, а больные ничего не ответили. Потому что он не сказал им ничего нового: про эти длинные ночи все больные знали и раньше. Тогда Щербина заплакал. Он просто сломался. Рыдания он сдержал, но это ничего не меняло.

Более того. Испугался, поплакал – дело житейское. Хуже было то, что у него через два дня поднялось давление и операцию пришлось отложить. А через неделю операцию пришлось отложить опять. Это было уже совсем плохо. Как только его волокли на операционный стол, с давлением у него делалось что-то страшное.

Никто из больных не припомнил Щербине, даже слова ему не сказали. Стало вдруг понятно, что это не герой. Что это человек. То есть человек, и тоже боялся, а ведь стоял на своем. Сражался, можно сказать, и бился. В одиночку бился. Столько, сколько хватило сил.

* * *

Теперь в палате не улыбался ни один. Ну кроме Пети-солдата, но Петя был не в счет. Он улыбался, потому что повредил в аварии не только суставы, но и черепную коробку. Он всегда улыбался.

И вот затихли все. В палате стало очень буднично, серо и немногословно. Приходил врач и говорил: «Надо быть бодрыми!» или «Надо быть мужественными!» – и кто-нибудь кивал: да, надо. Такая была обстановка. Немного жалоб. Немного искусственной бодрости. А по ночам стоны.

У медсестер, как и у няnek, теперь тоже было сложившееся мнение насчет этой палаты. Ночью две дежурившие сестры переговаривались примерно так:

– Ты в «тяжелейшей» уколы ставила?

– Это в какой? В первой?

– Ага.

– А я ее не так называю. Я – знаешь как – я называю ее «полумертвой».

– Мне там только Юрочка Орлов нравится. Хоть бы он выжил... Так ты пойдешь поставь там уколы.

– Юрочку Орлова и я люблю. Красивый.

Сестры обламывали для инъекций ампулы. Было три часа ночи, время наркотиков. У Орлова действительно были очень правильные и тонкие черты лица. Он покалечился, попав

под машину. Его пятый поясничный позвонок был превращен в кашу. Он не мочился самостоятельно. И не предполагалось, что когда-нибудь он будет ходить.

* * *

К Пете-солдату приехала тетка. Тетка была двоюродная и жила где-то далеко. И вот, выложив свертки с едой, отставив в сторону сумку, она припала к Пете. И тихо-тихо шептала:

– Ой же ты, мой родненький. Мой миленький. Неужели же дурачком ты останешься? Голубенок ты мой сизенький...

Слов было почти не разобрать. Она плакала долго и горько. Тетка не ожидала увидеть его таким. Она приехала не только навестить Петю, но и купить здесь, в Москве, мебель. И теперь посреди беды ей было ясно, что она купит мебель торопливо и кое-как.

Она была утром. Она была днем. Она выпросила себе право быть возле него ночью. А старшей медицинской сестре она сказала:

– Я для того, может, и приехала за тыщу километров. Чтоб с ним поплакать.

Сестра высказала ей пожелание врачей – врачи не советовали Петю расстраивать. Не советовали совсем уж распахивать окна и говорить о том, что из себя представляет Петя, если глядеть со стороны. Он был дурачок, но он не должен был знать об этом. Это было небезопасно.

А тетка без конца только об этом и говорила. Правда, она не ведала, что творит. Тихим своим ржаным голосом.

– Петенька, несчастненький мой. Как же ты жить-то теперь будешь?

Это была картина. Она тихонечко причитала, а Петя тихонечко знай себе улыбался. Иногда она начинала рассказывать «от печки» – о том, как была зима и как Петя родился. И как потом был мальчиком. Вплоть до катастрофы. Негромкий и заунывный ее голос напоминал некое затянувшееся моление – особенно это чувствовалось ближе к ночи.

Она разительно отличалась от других посетителей. Больные это почувствовали. Ночи становились не такими уж длинными, если она что-то там бормотала своему Петеньке. А рассказывала она ему все подряд. Все, что знала или когда-то в молодости вычитала. Однажды она рассказывала ему «Тараса Бульбу», искаженного до неузнаваемости. Тетка выдавала это за историю, случившуюся с какими-то далекими родичами. В голове у нее уже все перепуталось. Вольный пересказ начинался так:

– Жила-была мать. И было у той матери два сына – Остап и Андрей.

* * *

И случилось невероятное: утром Петя-солдат, проснувшись, вместо того чтобы улыбнуться, заплакал. Так оно началось. Щербина увидел и со своей кровати закричал: «Петя! Молодец!.. Молодец!» И Петя, растерявшись от окрика, на всякий случай опять заулыбался. Но было ясно, что лед тронулся. К вечеру он снова заплакал, когда тетка в очередной раз назвала его «несчастненьким». Она проела его своими мелкими слезками.

А на следующий день тетке запретили ночевать: однажды это должно было случиться. И тогда она уехала куда-то в свою тьмутараканскую даль. Она было совсем прижилась к больничной палате. Она спала на полу. Сначала сестры ее гоняли. А затем стали давать матрас. Большого она не добилась, а ей и не нужно было большого. Она спала на полу, на матрасе, забросив руку к Пете на кровать. Он за ее руку держался всю ночь напролет. К утру он уже не так боялся и мог даже отвернуться к стене. И тогда ее рука лежала на кровати сама по себе.

Наконец однажды врач запретил ей ночевать в больнице – а другого места в Москве, чтоб остановиться, у нее не было.

* * *

Тут вот и выяснилось, что вся палата отметила и оценила эту тетку. А врачу пришлось кое-что выслушать от больного по фамилии Орлов. От того, который был красив лицом и был самый читающий. Тетка Пети к этому времени уже уехала. Мебель она так и не купила.

Разговор случился ночью. Врач дежурил. Он вошел в палату, чтоб, не подымая особого шума, взять себе спички и прикурить, а Орлов не спал. Он не спал и как раз курил.

– Вот вы гляньте на них, – сказал Орлов. А вокруг спали – чуть светил ночник.

Орлов сказал все, что думал. Он сказал, что врач даже представить себе не может, насколько он, врач, ниже этой старухи с перепутавшимися мозгами и как много старуха значила.

– ...Вы гляньте на них, – и Орлов еще раз показал на спящих. Он сказал, что это несчастные. Просто несчастные. И не нужно говорить им: будьте бодрыми и мужественными. Не нужно говорить, потому что они не способны это понять и даже услышать. Они не слышат барабанов, пойте им тихо... Орлов так и сказал, он резко взмахивал рукой.

– Успокойся, голубчик. Успокойся. Ночь, и уснуть тебе надо. – Врач жестко перехватил расхажившую руку и тронул пульс.

Он вызвал сестру, и она сделала Орлову укол. Орлов успокаивался. Орлов уже тише говорил – он сказал, что, если б ему еще один день – хотя бы еще один день – побыть возле этой старой тетки, он бы на другой день стал поправляться. Все родственники, вместе взятые, не стоят этой плаксивой и доброй старухи: она знала свое дело. Он бы, может, на другой же день стал и бодрым, и мужественным, и каким там еще... Орлов говорил, но говорил совсем тихо. Слышно его не было.

Теперь все они спали. А врач присел и делил спички, чтоб иметь их вперед – часть себе, часть Орлову. Прежде чем уйти, врач оглядел больных.

* * *

Врач подумал о том, какое необычное влияние оказала на больных случайным образом оказавшаяся здесь старуха. Влияние было положительным, тут и сомнений не было. Петю-солдата уже демонстрировали приезжавшим издалека врачам, и главврач во всеуслышанье заявил, что психика больного наконец-то стронулась с нуля. Главврач был тогда в светло-сером костюме, он широко улыбался и жестикулировал. Он говорил очень убедительно. О старухе он попросту ничего не знал.

Врач держал в руке коробок спичек и стоял возле койки Пети-солдата. Бывший солдат спал. Они все спали. Врач опять подумал об этой старухе. Ну да, доброта сильнее лекарства. Старая как мир истина. Неужели же это выдавать за открытие?.. Врач стоял, негромко встряхивал спичечным коробком и знал, что истина сейчас рядом. Истина не была сложной.

Врач поправил одеяло, которым был укрыт Петя, и вышел. Было четыре часа ночи. Четыре часа оставалось до конца дежурства.

* * *

Три дня их забавлял молодой физик. У него было какое-то необычное искривление позвоночника. Он был ходячим. А на ночь ему ставили раскладушку меж Орловым и Щербиной.

– Я-то здесь человек случайный, – с самого начала заявил физик.

И он рассказал всем, что это такое – искривление позвоночника. И что операции вполне можно избежать, если делать такие-то и такие-то упражнения. Он лично делает их трижды в день. Очень эффективно, например, вытяжение. А еще лучше – и это последнее слово медицины в данной области – вытяжение под водой. Чудо, а не процедура. Как бассейн. И совершенно не болезненно.

– Что это ты читаешь? – спросил он Орлова. – Медицинское что-нибудь?

– Нет.

– Тебя оперировали?

– Да.

– А чего ты тогда здесь?

– Меня оперировали два раза. Жду третью, – сказал Орлов, не отрываясь от книги.

Физик вздохнул:

– Н-да. Я вижу, вы тут всерьез все обосновались.

И он опять повторил, что он здесь человек случайный. Он сказал, что ему даже как-то совестно находиться с ними в одной палате. Упражнения своего комплекса он, в общем-то, мог бы делать и дома. Забавно было слушать его. В нем было что-то очень свежее и наивное. Через три дня ему срочно была назначена операция, а еще через день он лег на операционный стол. А потом – в другую палату, где он тоже обосновался всерьез. На постоянной койке.

* * *

Петя-солдат был иногородний, и к нему не приходил никто. Здесь, в Москве, никого у него не было.

К Орлову приходили чаще всего отец и брат. Они все время шутили на одну и ту же тему. «Это он сейчас такой кислый», – говорил отец. «Ну ясно. А как только мы уходим, он принимается за сестреночек», – говорил брат. Они считали, что они его здорово подбадривают.

– Слушай, что я придумал, – говорил брат. – Ты теперь кричи им так: «Орлову – утку и сестру на минутку». Пусть знают наших!

Отец сидел возле головы Орлова, а брат – у ног. С двух сторон на него накатывался отменный сексуальный юмор. Они все время говорили о медсестрах.

Когда они уходили, Орлов рассуждал:

– Они думают, что я прежний. Я, наверно, такой и был. Они привыкли, что на меня бабы вешаются.

– Не понимают они нас, – вздыхал Щербина.

– А ты не жди этого. Ведь как стараются.

– А мои вот и не стараются.

– Ты заметил, как отец краснел? Краснел, старый хрыч. А все шутил.

– У тебя хорошие родичи. – Щербина опять вздохнул.

В наступившей тишине вдруг подал голос Петя-солдат:

– Я вспомнил, как я разбился.

Он уже в пятый раз «вдруг вспомнил», как он разбился. Он разбился на мотоцикле. Девушка, которая сидела у него за спиной, осталась целехонька – редкий случай. Она пролетела около десяти метров.

* * *

К Щербине чаще всего приходила жена. И мать приходила.

– Опять ты раскис. – Жена целовала его. Она заваливала стол Щербины фруктами и конфетами. А он рассказывал ей о своих болях. И о том страхе, который появляется ближе к ночи.

– Ты разве не знаешь, что со страхом нужно бороться? – говорила жена.

Она пробовала его отвлечь – она рассказывала, что вот на работе у них задержали премию, а надо бы купить на осень пальто. На самом деле премию не задержали. Просто жена хотела поволновать его житейской заботой. А Щербина слушал, и слушал, и слушал, а потом говорил:

– Знаешь, этой ночью стала стрелять левая нога.

Он перебивал ее не умышленно. Так получалось. Так было теперь устроено его сознание. И жена тут же отмечала этот его нюанс.

– Плохо, – вздыхала она. – Я ведь рассказываю, я тяну тебя к жизни. К живым людям. А ты не слушаешь. Не можешь оторваться от своих болячек.

Он молчал.

– Ну вот. Теперь ты раскис.

– Нет.

Щербина отворачивался и кое-как стряхивал напозвизгавшие слезы. Когда он видел жену, они напозвизгали сами собой.

– Раскис. Я же вижу.

– Нет.

Они немного ссорились. Жена говорила:

– Я люблю тебя бодрого и веселого. Я люблю тебя мужественного. Такого, каким ты был...

Она вспоминала, каким он был, пока не сломался. Она ему здорово все объясняла. А бедняга просто боялся. Бывший монтажник-высотник боялся предстоящей операции. И очень боялся наступающей ночи. И не умел этого скрыть.

И жена, сидя возле его койки, плакала:

– Господи, до чего же ты стал слабым. Как мне не повезло.

Бывший монтажник просил прощения. Он просил, чтоб она не плакала. И просил, чтоб обязательно пришла завтра. Если он наверняка знал, что завтра придут, засыпать было легче. Иногда ему даже удавалось уснуть сразу.

Позже к Щербине приходила мать.

Она сразу замечала, что он недавно плакал. Материнский глаз был зорек. Она вздыхала. Во вздохе было не только сочувствие сыну. Был еще и скрытый упрек этому поколению:

– Какие-то вы все слабые.

Мать выложила на стол еду. И выложила книги – книги она приносила в отдельной авоське, они были тщательно обернуты в целлофан. Это были книги про героев. Мать была библиотекарем – седенький библиотекарь, скромный и бескорыстный распространитель знаний. Мать уже очень давно верила в эти книги.

– Я целый вечер подбирала их.

– Спасибо, мама.

– Не мне спасибо. Писателям. А я только библиотекарь.

Книги лежали на полу, на газете, так, чтоб с постели достать рукой. На окне их держать не разрешалось; подоконники в больнице должны были быть чистыми. Каждый раз мать приносила штук пять или шесть. Щербина иногда их листал. А читал их Орлов. Орлов был самый читающий.

В конце посещения мать обязательно делала выпад в сторону жены Щербины – своей невестки. Они не любили друг друга. Мать считала, что это невестка так расслабила ее могучего сына.

– Мы хотели, чтобы ты был энергичным, мужественным. А она... она хочет, чтобы ты был мямлей.

– Перестань, мама, – просил Щербина.

– Не перестану. Потому что это правда.

Мать стала пояснять, почему это правда. Щербина не слушал, он отключался. Он думал о старухе, которая спала возле Пети на полу, – он никак не мог вспомнить ее отекавшего лица, а голос помнил.

Мать уже не говорила о невестке. Она прощалась.

Час посещений подошел к концу. Возле других коек тоже сидели – то мать, то брат, то жена, – сейчас они тоже вставали и прощались. Во всех палатах. В дверях все они еще раз улыбались подбадривающей улыбкой.

И теперь к вечеру в палате оставались только больные. Все те же лица. Как и каждую ночь. Щербина. Петя-солдат. И Орлов, про которого няньки говорили – самый читающий.

В дождливые дни

Рассказ

Это нарастало уже давно и исподволь, а с приездом Костомарова обострилось.

Я знал, что ее люблю; и так же хорошо знал, что ничего и никогда из этого не будет. Мне тридцать один, и не видел я ее уже пятнадцать лет. И само собой, что она меня не видела столько же: такая вот арифметика – учился с ней в девятом и совсем мало в десятом классах.

Имя ее давно выстарело и стало для меня неинтересным, вычурным, не стоящим чувства; высвобождая место, его как бы стерли со школьной доски, букву за буквой. Если же в разговоре с Костомаровым ее имя пришлось назвать и произнести, то было оно как уже нечто придаточное, как, скажем, прическа, которую она сейчас предпочитает, или как ее семейная жизнь, если на взгляд внешний и беглый: счастлива ли? несчастлива? ах, вот оно что – как у всех.

Костомаров приехал из того городка, где она, – издалека; то есть забытый и обрушившийся как бы из небытия, он пришел ко мне, передал приветы от столь же забытых знакомых и сказал, что он на три дня.

– Вообще-то командирован я ровно на один день, но задержусь на три.

Я предложил ему остановиться у нас, он не стеснит.

– Нет. Я в гостинице... У меня самый славненький номер! – сказал он.

– Но ты зайдешь еще?

– Не знаю. Наверно, не успею... В бегах буду.

Он спросил, где ГУМ, ЦУМ, Третьяковка, и скоро ушел. Я вышел с ним и провожал до метро. Я спросил, как там она.

– Замужем давно. Ребенок. Живут плохо...

– С мужем?

– Ну да.

– А что такое?

– Да нет. Ничего особенного. Как у всех. Живут и живут... Ну, пока.

Он ушел. А я думал, что вот ведь плохо живет она с мужем. И хоть было это мне совершенно ненужно, появилось от оброненного им «плохо живет» какое-то удовлетворение, пусть горьковатое. Вроде как создана-то она была для меня и судьбу не обманешь, мол, и не объедешь. И может быть, с полчаса я тешился неправдивой, но греющей мыслью.

* * *

Я сильно промок, возвращаясь, но переодеваться не стал. Я отправился на работу, сидел там, опоздавший, медленно обсыхающий, и внешне что-то делал, хотя в сущности – ничего. За окнами и на окнах был дождь; я глядел, почти неотрывно, на эти капли, на их стук в окна – этот стук я именно видел, а не слышал – и был как бы загипнотизирован. Иногда я переводил глаза на сотрудников и думал: как это они могут чем-то заниматься? Ведь суета.

Я вспоминал, как когда-то развели костер во дворе, и она сказала мне: «Возьми свою тужурку. Холодно». – «Нет». – «Ну возьми же». И я взял, но неохотно; я хотел, чтобы тужурка осталась возле нее, – мне казалось, что после костра будет некий момент, всплеск радости, кульминация, и вот после всплеска, после этой-то кульминации, когда все будут расходиться, у меня и зацепка, и повод: подойти к ней, чтоб вернула мою тужурку... Я переводил глаза на женщин нашей конторы – были же и здесь женщины, – на их подсиненные ресницы, на юных и на стареющих. Юные были грубые, а старые – были старые. И была мысль, что там, далеко, я

оставил нечто совсем иное, неизмеримо лучшее и не повторяющееся. И чуть ли не променял на этих, хотя бы и милых, сидящих меж мужчинами случайным разбросом. На эту. Или вон на ту.

Я любил ее сейчас гораздо сильнее, чем когда-то, – это было как дважды два. Непоправимость была настолько отчетливой и ясной, что и оценивать не хотелось. Не в том дело, что она замужем, а я женат, и дети, и в разных городах, – это ведь не причина, а лишь вытекающее. Жизнь идет и идет сама по себе, и желание что-то исправить и переиграть не возникает. Не возникает и не возникнет. И так будет год за годом.

Подошел друг. Он знал, что происходит со мной (хоть и друг, а не стоило с ним делиться, но уже случилось). И вот он, негромкий, подсел рядом:

– Ну как?

– Без перемен, – сказал я. – Все то же.

Он вежливо помолчал, вздохнул. А затем, из сочувствия же, рассказал историю.

Он был у «своей Гали» недавно: тут эпитеты – восторг – сравнение с женой (никакого сравнения!) – после чего наконец история.

Он пришел к ней, к «своей», в гости, и все было чудесно. В холодильнике был у нее как раз ямайский ром (и это уже не восторг, а необходимая деталь для повествования). Всю ночь любовь или, лучше сказать, чудо любви – чудо этого божьего подарка людям, а утром вдруг приезжает ее муж с дачи.

Он, муж, звонит в дверь, долго звонит, затем куда-то уходит, но, может быть, он затаился у двери и размышляет, что же все это значит. А мой друг, как быть, спешно одевается и лезет за портьеру, благо квартира старинная. И стоит там, как солдат в карауле, честно, навытяжку, а за окном... а за окном дождь. Но тут она, его любовь, – о женщины! – смекает, что если даже и выпустить друга моего, скажем, как голубя, через окно, то ведь ямайского-то рома нет, и так просто не купишь, и не выпила ж она его сама, – и тогда она звонит, ища выхода, подруге («Приходи срочно с кем-нибудь». – «Ладно». – «И помни, что всю ночь мы пили ром». – «Ладно». – «Ямайский». – «Ладно». – «Так приходи же. И поскорее. И купи что-нибудь для «продолжения» выпивки, деньги за мной».)... Муж, как-то вдруг появившись, опять звонит в дверь, и теперь ему открывают. Друг мой за портьерой, чтобы не шелохнуть, все еще навытяжку, а за окном... а за окном дождь.

«Мы пьем!» – с неподдельной радостью сообщает она промокшему и продрогшему мужу. Приходит подруга с кем-то. И с коньяком. И все подтверждается. И в хорошую минуту мой друг вылезает из-за портьеры и присоединяется незаметно к пьющим и радостным. Вроде как он здесь был. Вроде как разведчик он, капитан наш, который наконец-то в двенадцатой серии вскрыл сейф гауптмана Шварцкопфа... И все хорошо, все чудесно, хеппи-энд, муж допивает коньяк, согреваясь все больше, – но только с тех пор друг мой туда уже не ходит. Не может. Что-то с нервами. Порог переступить нет сил.

И завершилась история его вздохом, что вот была любовь. Была и кончилась. Такая вот любовь.

– Да такая-то и у меня была, – сказал я неосторожно, не вникший.

А мой друг обиделся. Ведь ради меня вынул и выволок из глубины души самое лучшее, самое святое, чтобы меня же, впавшего в тоску, успокоить, – а я?... а я ему этак снисходительно, дескать, бывало и такое. Чистюля какой. Влюбился когда-то шестнадцатилетним мальчишкой и теперь, видите ли, страдает.

– Я не страдаю, – уже оправдывался я. – А только мне кажется, что я любил и люблю только ее.

– Ну и люби, – говорит он с язвой в сердце. – Любить память – это ведь прекрасно. Даже жена против не будет. Ты просто замечательно устроился.

– Да, – говорю, – уж куда удобнее.

(А в подтексте: «И за портьерой мне не стоять».)

– Ладно. Давай не ссориться, – добавляю я, добрея.

– Давай. И ведь я понимаю тебя, – говорит мой друг тоже просветленно и с теплом. – Только и ты мою любовь не брани. Я ведь для тебя рассказывал. И, конечно, чужая любовь, она ведь всегда чужая.

И мне уже совестно, что я лишь о себе думаю, и вот я соглашаюсь:

– Чужая любовь – это чужая... Что да, то да.

Кончилось тем, что за болтовню в предобеденное, но еще не обеденное время я и мой друг получили выговор от вошедшего начальника. Я начальнику улыбнулся, я думал о ней. Выговор или не выговор – это ведь ничего не меняло.

* * *

Так шло время; и в состоянии этом становилось, к примеру, понятным, что все женщины – по крайней мере те, то в нашей конторе, – хотят быть любимы. Я видел это по лицам, по тем же подсиненным их глазам и по выбору слов в разговоре. Говоря о чем угодно, они будто бы недоговаривали о важном: о том. И при некотором воображении можно было представить, что здесь не контора и что это не замужние женщины, а некие невольницы, поднадзорные и не могущие ступить шага, и что у некоторых из них есть где-то в шумном городе любимый человек, скрываемый, и вот они о нем шепчутся, опасливые. Это было интересно, то есть думать, что это так.

Или наоборот: я мог думать, что все они неуголенные и все начеку и ждут большую любовь. И только пойдя навстречу, неважно, двадцать ей лет или сорок, она поймет тебя сразу, она всю жизнь живет начеку и в ожидании – и дело не в «да» или «нет». Пусть даже «нет», но ведь поймет. Поймет сразу же и в долю секунды – всю жизнь ждет, как не понять?..

Так и сидел я за своим конторским столом, витающий. Я вспоминал старый, из древности, вопрос: «Готов ли ты к смерти, грешный?» – и в вопросе этом вдруг открывал некую неслучайную правду, не пустоту. Я понимал, что вот была суета или забота, бегал, говорил, что-то делал, и было бы больно мне умереть вдруг, и я бы цеплялся, упирался или даже кричал; и не из того, что я так уж свою жизнь ценю, этого нет, а именно потому цеплялся бы, упирался и кричал, что не готов. От неожиданности. От неготовности. А вот сейчас, наполненный той любовью, налитый, как стакан молока с верхом, я был готов. И это уж точно радовало: бывают же, значит, минуты, когда и я готов, и не все ж оно, значит, щенячье и мгновенное. Вот так, мол, и встречать надо – спокойно. Грешник, мол, а вот ведь готов.

Грешник... мысль, без припоминаний, знала это, то есть что грешник, и позволяла самой себе, не кающейся, здесь же срываться. В воображении я приезжал в тот город, прямо сейчас, поездом, я вдруг приезжал туда. И приходил в школу, в класс, где она учит детей, – тут уж и детали: учительская, расписание занятий, 6-й «Б» класс. Например, она в 6-м «Б», и вопрос, внешне спокойный: «А где расположены шестые классы?» – и туда, и на перемене я прошу у нее разрешения попристутствовать на уроке. В лицо она не помнит, как-никак пятнадцать лет – не пять. Можно выдать себя за журналиста (если будет пристойный костюм и фотоаппарат), собирающегося написать о школе. И вот у нас с ней знакомство, на почве будущей статьи. Уже после урока идем, оживленные, по улице – и все снова. Ну, и любовь тоже. И вот она приходит ко мне в гостиницу (то есть уже не только костюм, фотоаппарат, но и номер в гостинице – ну пусть, бывает же). И вот мы разговариваем. О том. О сем. И она говорит, что нравится ей мое имя. Когда-то она любила соученика, ему было шестнадцать лет, неполных даже...

– Его только и любила... – говорит она тихо.

И вот тут – открыться ей или нет? – весь карточный домик замирает, готовый рассыпаться. Открыться? – рассыплется сразу, а не открыться – тоже не то. Я попросту прерываю

мысль и держу себя вот в этом недовыясненном состоянии – держу как можно дольше: чувство становится длительным и со вкусом меда.

То, что я так уж вчистую бездельничал, все-таки, видимо, грызло – червячок, хотя и неосознанно. А осознанно мне казалось, что все они, в сущности, ничего не делают. И вообще любое дело, если оно не было явно космического размаха, тут же и моментально виделось мне делом пигмейским и ничтожным. Осмелевший, я так и сказал начальнику, когда он мне выговаривал (за болтовню с другом).

– ...Сами-то вы что сделали? Ну хоть за сегодня, за целое утро – что?

Это было, понятно, лишнее.

– Ого! – сказал начальник. – Может, мне отчитываться перед тобой?

– Не надо отчитываться, – гнул я свое. – А вы просто, по-человечески скажите – что вы такого, существенного, сделали за утро?

Потом я вновь сидел за своим столом сладостно опустошенный, один. И ждал, когда подойдет «она», ждал прилива, и вот уже слышались чьи-то далекие шаги в коридоре, и были как бы специально для меня (так... так... так...), приближались. И с запинкой, с дыханием припоминался тот старый-старый стих:

Она была при жизни так прекрасна,
Что ей подобных не было и нет.

Именно при жизни – при прошлой. И подобных ей не было и нет... И едва я строчки стиха припомнил, «она» пришла. Все было так же. И костер во дворе. Вот здесь она сидела. Вот здесь сказала: «Возьми тужурку – холодно...» Вот тут с тужуркой сидела возле огня, подставляясь теплу щекой и глядя на угли... Без перемен.

* * *

Дома жена заметила – она и вчера заметила, но заговорила, выждавшая, лишь сегодня. Я сказал ей, что ничего, мол, особенного: погрузился в свое полудетство. Я сказал, что вот вспомнил и что вот печаль. Она рассказала, что в детстве тоже был около нее какой-то мальчик, которым ее дразнили, говорили – Рашидка-жених, и она ужасно смущалась, особенно же стеснялась матери, хотя почему бы?

Рассказ жены как бы восстановил равновесие, и можно было вернуться к привычным разговорам. И потому было уже некоторым вызовом и излишней жесткостью, когда я опять же и вслух начал: «Она была при жизни так прекрасна...» – на что жена смолчала и только глянула: ведь и я, мол, тебе почти то же самое рассказала и чего же ты снова.

И была тишь. И наш кот, любитель поиграть, бродил по комнатам как неприкаянный. А мне (из тишины этой) захотелось на миг некоей киношности, пусть пошлой: чтоб я сидел сейчас где-то в криках и в шуме, пил, буянил, дрался в загулявшей компании, а «она» жила бы где-то рядом и близко – скажем, освещенные окна – и чтоб все вокруг знали, что я пью, буяню и дерусь лишь потому, что «подобных не было и нет» и что ведь я не только бутылкой могу или ножом пырнуть, а ведь и заплакать могу. И чтоб «она», где-то там за освещенными окнами, близко, тоже это знала и пусть не любила, но чтоб боялась за меня. За меня боялась – именно, именно это... В окна барабанил дождь, унылый, как действительность; я что-то пытался смотреть по телевизору, и что-то ел, и стелил вместе с женой постель, и, слава богу, в голове уже тихо звенело – время спать.

* * *

В вагоне метро газета в руках у соседа справа говорила о тех или иных новостях; на завалившемся в мою сторону листе были международные новости, как всегда, свежие, вплоть до суперновости – атомной войны. Этой войны не было. И в то же время она уже как бы была и прошла. Как нечто.

Когда-то такая война в сознание не вмещалась и была ощущением чужим и чьим-то, но не моим. Затем цифры, ударная волна и убеждающие рисунки (пляшущие человечки там всегда были схематичны и трогательно малы), величина воронки и прочее, втиснувшись, через вторую сигнальную вошли все-таки в душу. Правда, было оно как бы и не настоящее, не болело – вошло и не вошло. И так и жил я: я отдельно, а страх и бомба отдельно, и я о них знать не хотел. Но сейчас было интересно знать, что я, пожалуй, и по-настоящему мог впустить в сознание все эти цифры и всю жуть.

Как-то она болела. И на новогоднем вечере я много танцевал с другой девятиклассницей: я вполне чувствовал, что я преступник, но танцевал. Появившись после болезни в школе, она целый день не смотрела на меня, и муки мои были невыносимы... И вот одноклассники, приятели и девчонки, – в том числе и та, с которой я танцевал, – один за одним подходили ко мне и сочувствовали, утешали, говорили, что «не беда», и что «не мучайся очень», и что, конечно, «она простит».

– Простит. Еще день, и она простит, – в этом была как бы и важность, и значительность для всех них (а она простила лишь через неделю). Особенно же тягостно было ждать прощения вечерами. И как-то был дождь, и с той, с которой я танцевал, мы оказались в подъезде и целовались полчаса или час, и, уходя, она повторяла и утешала меня:

– Простит. Еще день, и простит.

* * *

Помню, что я заехал к родственникам – жена, что ли, велела. Стянув вымокший плащ, я прошел в комнату и вот тут и увидел (у родственников) грошовую книжонку со стихами – ее подарил им поэт-приятель. Родственник пояснил с улыбкой: «Да так... О любви. Выбросить все собираюсь». – «Дай ее мне», – сказал я. Вдруг показалось, что вечером и что сегодня же я сяду и буду стих за стихом перебирать. Неважно, что плохонькие и плевые – а я вот специально буду читать их, именно плохонькие, и буду слышать отзвук: для себя. Стоящие стихи – они бы мне непременно что-то свое навязали, а мне не надо.

Я так мыслью увлекся, что стал просить. А родственник хоть и собирался тоненькую книжечку выбросить, но передумал: «А вдруг ко мне этот поэт-приятель опять зайдет. А книжки нет – неудобно». – «Ты ж говорил: выбросишь». – «В первую же помойку. Но пусть хоть полгода пройдет». – «Ну, дай...» И я настоял, выпросил. Однако только на один день. Напутствуя, родственник добавил, что вообще-то этих стихов полно в любом книжном. Их никто не покупает. Не Евтушенко... Возбуждения все еще не преодолев, я как бы спятил и, в дождь выйдя от родственников, помчался по книжным, и всюду говорили, что не имеют понятия, что стихов этих нет, а один продавец разъяснил, что книжку никто не брал и что скопом лирическое добро отправили в провинцию: там прожуют. Не осознавая, что мог бы купить любую книжку взамен, я заглядывал им в глаза опять и опять. «Нет», – отвечали продавцы. «Неужели нет?» – «Нет». – «Нет». – «Нет»... А я показывал книжонку, данную на один день, шумел, требовал, и со стороны на меня посматривали как на коллекционера с приветом. Кончилось тем, что, показывая, я где-то на прилавке оставил, потерял эту книжечку. В метро как раз была суматоха

– «пик», я хватился и хотел выскочить из вагона, пометался, повскрикивал, поахал и наконец успокоился, сник – и молча уже ехал и думал, чего это я в самом-то деле?

А вечером, когда поужинали, когда жена и дети уже спали, я, засидевшийся, остался на кухне – без света, – сидел и заворуженно видел (осматривал) капли, стекающие по оконному стеклу.

Я чувствовал, что «она» опять где-то здесь – рядом и что это прочно. И значит, не ушло, не кончилось, и еще какое-то время может существовать и быть... Нашлось объяснение и тому, что я так слепо суетился у прилавков, – ведь боялся, уйдет «она», исчезнет, никаких же гарантий. И вот (не знаю, было ли ей сейчас шестнадцать или немногим за тридцать, как и мне) она подходила, была где-то рядом и позволяла, чтоб у меня были жена, дети и чтоб я ужинал, укладывал их спать, – все это было разрешено мне и оправдано в ощущении длящегося дождя: в ощущении того необычного и нечеловечески глубокого дыхания, каким дышат, например, овраги и каким дышит поле. «Не плачь, – как бы говорила она мне. – Не плачь. Жить – это не страшно» (все-таки ей было в эту минуту немногим за тридцать, а не шестнадцать).

* * *

Была ночь, дождь за окнами не прекращался – я вяло обошел свое жилье, глядел сонно, а мысль, хотя и ночная, все нашептывала, что каждый, мол, угол жилья имеет свой смысл и значение. Вещи и стены глядели ответно, подчеркивая, что да, они не просто моя прихоть, а живут и имеют свою жизнь, быть может, более долгую, чем моя... Кот-игрун вылетел из-под стола, атаковал мою ногу и тут же умчался в темноту.

Заскочил вдруг Костомаров, днем. Казалось, год, ну месяц его не было. Но нет – только неделею.

– Думал, на три дня, а сумел вот целую неделю выкроить...

– Сегодня уезжаешь?

– Прямо сейчас. Проститься заскочил. Целую неделю сумел погулять в Москве!.. – Он глядел весело, молодцом.

И дальше пошли те самые разговоры о житейской ловкости – о том, как нам удастся иногда обмануть начальника отдела командировок, жену или кого там еще нужно иногда обманывать, чтобы чувствовать полноту жизни, а не только ее половину.

Я провожал его до метро; и единственное, на что он жаловался в Москве, – на этот вот зарядивший мелкий дождь. Он дышал полной грудью, курил – и прятал меж затяжками сигарету в рукав дождевика, чтобы не намокла.

– Ты... ты передавай ей, когда ее увидишь, – сказал я. – Передай, что я люблю ее и что помню ее.

– Передам, – очень просто ответил он.

– Что я помню костер во дворе и как она бродила вокруг огня с моей тужуркой... – Я затянул паузу, сдерживая волнение.

Он повторил:

– Что ты помнишь костер и как она бродила с твоей тужуркой.

– Что мы когда-нибудь увидимся.

– И что вы увидите...

Было удивительно, что человек тебя понимает. Костомаров глядел серьезно и, не улыбаясь, повторял слово в слово.

– И что она была так прекрасна, что и похожих-то на нее не было и нет.

Он в точности повторил и это.

Не наш человек

Рассказ

Впервые молодой Якушин услышал эту глупую фразу от тещи – точнее сказать, он подслушал. Это получилось нечаянно. В ванной он на минуту прикрыл воду в кране, и вдруг (в наступившей тишине) откуда-то с кухни донесся голос тещи:

– Раньше о таких, как твой муженек, знаешь что говорили?.. Говорили просто: *не наш человек...*

Жена сказала:

– Ну что ты такое выдумываешь, мама!

– Тсс. Он в ванной.

– Из ванной, мама, ничего не слышно. Но если даже и слышно – что, собственно, ты хочешь сказать?

Якушин услышал еще кое-что любопытное, но это уже были пустяки. А фраза тещи осталась в памяти – обожгла.

С утра он заспешил на работу, ни с женой, ни с тещей старался не разговаривать – боялся, что сорвется. Перекусил и пошел. Ему было двадцать лет, скандалить он стеснялся.

Ребята в магазине решили, что Якушин сегодня работает с прохладцей. Ленился, хотя и не лентяй.

Он отнес с кем-то в паре «Соню», потом «Марианну» – а потом, когда нужно было нести полдюжины негарнитурных стульев, он вдруг сел в сторонке и заскучал.

– Эй, – спросил дружок Валера, – ты что?

– Иди, – махнул рукой Якушин.

И продолжал сидеть. Шум и галдеж мебельного магазина тяготили его и не давали думать. «У меня работка – не заскучаешь. Шустрая!» – любил говорить он раньше. А сейчас шум и беготня раздражали. Якушин понимал, что в его ситуации надо бы как следует накачаться пивком – но по-настоящему пива он не пил. Не умел. Прошел в жизни стороной. Домашние на пиво смотрели очень косо.

Появились ребята:

– Ты долго филонить будешь?

Якушин объяснил – у него в семье большие неприятности. Нелады.

– Спору нет, – с горечью добавил он, – я рабочий в мебельном магазине. Обыкновенный работяга. А жена – техник, с отличием техникум закончила. Но зачем же нос задирать?

Якушин стал рассуждать.

Что, собственно, она имела в виду? Кто? Теща. Вокруг поднялся хохот. Закричали:

– Якушин! Зятек!.. Иди-ка лучше работай. План не дашь – теща тебя совсем заест.

Им было весело.

И только один сердобольный (из покупателей), услышав краем уха жалобы Якушина, стал утешать. Он был из тех покупателей, что часами толкуются в мебельном. Он ничего не покупал. Он никуда не спешил.

– Крепись! – говорил он Якушину.

Он дышал на Якушина портвейном и еле стоял на ногах. И утешал:

– Запомни, юноша, теща всегда была и будет недовольна зятем. И это правильно. Мудро.

– Почему?

– Потому что в этом – закон жизни. *Зять любит взять.*

Но тут появился начальник Якушина и сказал, что закон жизни совсем в другом – в труде, мой милый, в труде, и нечего так долго прохлаждаться.

– Где, я спрашиваю, ты находишься, – вспыхнул начальник, – на работе или нет?

Якушин молчал.

– Может, ты в Сочи приехал?

Якушин никогда не был в Сочи, но понял, что это что-то обидное.

– Я знаю, что не в Сочи, я в Москве, – буркнул Якушин.

– Спасибо. А я где нахожусь? – спросил начальник.

– И вы в Москве.

– Спасибо, родной. Значит, мы оба сейчас в Москве – а что же мы тут делаем?

– Работаем.

– Разве? – И он стал сверлить Якушина глазами.

Якушин вздохнул и отправился грузить «Веронику», лучший из гарнитуров. На этот раз пришлось заняться не только погрузкой, но и доставкой – это тоже входило в работу Якушина.

Ехали куда-то в Сокольники, проезжали район, в котором жил Якушин. Вот его дом. С тещей и с женой. А это... это дом Зои.

Дом Зои промелькнул и тоже остался позади.

Женат Якушин был ровно год. А до этого довольно долго дружил с Зоей. То есть как дружил – иногда они гуляли по улице, а иногда он заходил к ней поговорить о жизни. Зоя была симпатичная.

За неделю до своей свадьбы Якушин пришел и несколько виновато рассказал Зое. При этом покраснел. И глаза спрятал:

«Кто знает, Зоя... Может быть, неправильно я поступаю. Может быть, мне надо было жениться на тебе, Зоя».

Зоя рассмеялась:

«Да ты, я вижу, чудака».

«Чудака?»

«Конечно!»

У нее и в мыслях не было выйти за Якушина. Она собиралась замуж за некоего Леонтия.

Но Якушин ничего этого не знал – он решил, что Зоя смеется потому, что не хочет показать, что она обижена. Не хочет туманить его счастье.

* * *

Пива он все же выпил – сразу после работы, – но на душе легче не стало. Он выпил еле-еле одну кружку, больше не потянул. Да и стоянье у палатки показалось ему скучнейшим делом. Он с трудом выстоял такую очередь.

– Пей еще. Пей, – уговаривал дружок Валера.

– Нет.

– Почему?

– Да ну его – горькое.

Дружки захохотали:

– Неужели горькое, а?.. Пусть, пусть идет домой. А то теща очень заругается.

Но Якушина на этот крючок не подденешь – пить он больше не стал. Он простился с ними. И пошел.

Было грустно. По пути домой Якушин решил, что, пожалуй, заглянет сначала к Зое, – в его молодом мозгу стал вырисовываться кинофильм, в котором Якушин изменял своей жене Гале в первый и последний раз в жизни. Это было оправданно, потому что это было от горя. От большой обиды. От незаслуженной обиды, разве нет?

Но, подходя к дому Зои, он одернул себя – нет, он не сделает этого. Он человек, а не тряпка. Он не тонкая рябинка. Он просто и по-дружески откроет Зое свою беду, вот и все.

Первое, что сделала Зоя, – расхохоталась.

– Боже, как от тебя пивом несет! – сказала она, открывая дверь.

Зоя знала, что Якушин не из тех, кто выпивает.

– Что произошло?

– Я расстроен, Зоя.

– Чем?

И он рассказал, как услышал от тещи обидную фразу.

Зоя фыркнула:

– Какой ты глупый, Якушин.

Но он стоял на своем:

– Может, теще не нравится, что я мало книжек читаю?

– Понятия не имею.

– А может, ей не нравится, что я на мебели работаю?.. На мебели бывают калымщики.

Но ведь я не калымщик?

Зоя опять засмеялась. Она знала, что Якушин чудачок. А сейчас ей даже подругу захотелось позвать, чтоб и та посмотрела, какие бывают чудаки.

Зоя стала удерживать Якушина. Потому что в голову ей пришла другая мысль – вот-вот должен был прийти Леонтий, за которого она собиралась замуж, он любил все веселое и чудное.

– Посиди, Якушин, – просила Зоя и строила глазки.

– Не надо, Зоя, мы с огнем играем.

– Ну посиди.

Но Якушин ушел. Он возвращался домой долгим-долгим путем. Он шел по набережной и много курил. «Не наш человек. Не наш...» – сверлило в мозгу. Это никак не укладывалось. Мир встал на голову.

* * *

Якушин пришел домой, взял книгу и стал читать. Он читал вслух.

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой.

Якушин держал книгу в руках, чтобы теща видела происходящее своими глазами. На самом деле он мог рассказать это стихотворение наизусть. Потому что оно было его любимое.

Теща не проронила ни слова.

* * *

Впоследствии этот его случай с чтением вслух теща взяла на вооружение. Время от времени она ядовито говорила:

– Почитал бы ты нам стихи.

Или:

– А вот он нам сейчас почитает стишок-другой. Он славно читает. С выражением.

Конечно же, теща хотела этим сказать, что Якушин по своей недоразвитости читает только детские и глупые стишки. Но ведь «Парус» не был детским и глупым стишком. Это было чудо, а не стихотворение.

На этой почве и произошел срыв. В воскресенье.

Очередного намека на детские стишки молодой Якушин не вынес. Логика поступков нарушилась, а сдерживающие центры на время отключились. Якушин забрался на крышу дома – каким образом это произошло, он не помнил.

То есть обрывочно он помнил. На чердаке был полумрак. Свет проникал в квадратный люк, там полоскался голубой лоскуток неба.

Якушин сел на чердачную балку и, как в детстве, заплакал от обиды – потому что с ним в этот миг что-то стряслось. Он потихоньку всхлипывал.

– Зоя... Зоя, – повторял он.

Ему думалось, что он любил и любит Зою. Что в этом причина всех причин.

* * *

В семье был теперь мир. Якушин потратил на этот мир уйму сил и целый год времени.

Во-первых, он сменил работу. Он ушел из мебельного магазина на фабрику. На фабрике делали мебель, но делать мебель – это делать, а не таскать с места на место. Якушин был паренек наивный, но в высшей степени трудолюбивый и честный. Он быстро освоил специальность и получил разряд.

Однажды он сказал жене:

– Галка, мне премию дали за полгода. Неожиданные получились деньги – взял и купил тебе тот кримпленовый костюмчик.

– Не может быть!

– Вот он.

Жена запрыгала. Закричала:

– Вот это подарок! Вот это Якушин!.. Мама! Мама!

Теща выплыла. И тоже похвалила:

– Молодец!

И что-то было в ее глазках необыкновенное. Якушин подумал: наверное, ей очень хочется сказать, что я теперь «наш». Но деликатничает. Не хочет ворошить прошлое.

– Молодец, – повторила теща.

И Якушин, засыпая в эту ночь, улыбался сам себе и всему миру. По-доброму улыбался. Спал и улыбался.

* * *

Он стал неплохо одеваться. Стал курить сигареты с фильтром.

Иногда он спрашивал жену:

– Как мама?

– Что – мама?

– Как она?

– Она хорошо. Ты так спрашиваешь, будто она живет в другом городе, а не в одной с нами квартире.

– М-м...

– Что еще за «м-м»?

– Ну а вот скажи... Когда вы вдвоем остаетесь в доме – ты и мама, – не говорит она обо мне, что я...

Он запнулся. Он долго мялся. Он хотел это выговорить, но не смог.

– Ничего она о тебе не говорит, – отрезала жена. – Мама тебя любит.

* * *

Но равновесие опять нарушилось. Теперь бывшие друзья по мебельному магазину, Валера и Серега, вдруг сказали ему:

– Не наш ты стал человек, Якушин.

Точь-в-точь. Слово в слово.

– Не наш.

А было так. Якушин купил шкаф – купил в том самом магазине, где когда-то работал. И попросил ребят, чтоб помогли доставить домой. Ребят он не видел целый год.

Ребята сказали:

– Поможем. Не волнуйся.

– Спасибо. А я даже растерялся малость – одному-то не дотащить. Хоть тещу запрягай.

Посмеялись. Серега подмигнул Валере:

– Ай да Якушин. Мебелишку завел.

– Он теперь только с женой водится, – подхватил Валера. – Хозяйчиком стал.

– Забыл своих дружков.

– А на что ему друзья?

– Ну ясно! Он же теперь в цеху работает. Он не такая подсобная шушера, как мы с тобой.

Якушин вспыхнул:

– Да что вы, ребята. Да бог с вами.

– Ладно, ладно. Иди доставай грузовик.

* * *

Зима была суровая, но Якушин не замечал ни мороза, ни ветра. Он шел озадаченный и нет-нет сбивался с тропы в голубой сугроб.

Дома он выложил свою обиду жене. Разве он, Якушин, заслужил от ребят такое?

– Они же калымщики, они тебе не друзья, – сказала жена жестко. – Ты же сам говорил, что эти двое – рублики сшибают.

– Сшибают, – согласился Якушин.

– И пьяндыги?

– И это бывает.

– Ну вот видишь – значит, наплевать на их пустые слова. Наплевать и забыть.

И жена пояснила, что он, Якушин, в цеху работает, уважают его, ценят. А эти двое никакие не рабочие. И не товарищи они ему. Они люмпены.

– Кто?

– Люмпены. Опустившиеся людишки.

Но и умное словцо ученой жены не слишком успокоило Якушина.

Он сел и задумался.

– А шкаф? – напомнила жена.

– Сейчас. Сейчас.

– Иди немедленно. Тебе еще грузовик найти надо.

– Найду.

* * *

Якушин договорился с водителем – и вот машина подрулила к мебельному. Сыпал снег. Шкаф, уже вынесенный из магазина, стоял на снегу и сверкал полировкой. А около взад-вперед ходили Валера и Серега.

– Все готово, *хозяин!*

Они подсмеивались. Они нарочно повторяли это слово.

– Заждались твоей машины, *хозяин!*

Обиженный Якушин промолчал. А когда ехали к дому, он стал обвинять себя: ведь и впрямь забыл их за этот год. Для тещи старался быть «нашим». А ведь дружили с детства, Валера тогда ловил карасей, и как ловил!.. Валера и сейчас иногда пел их знаменитую песню:

Караси, караси,
голубая речка, —

было детство, было лето, была река и была такая песенка.

Машину трясло. Момент был особенный. Якушин придерживал шкаф и думал о ребятах. Ребята придерживали шкаф и думали о выпивке.

– Вот вам на поллитру, – сказала жена Якушина, когда шкаф был внесен в квартиру и установлен. – И ни на пробку больше.

Ребята кисло поморщились, поклялись еще, но без успеха. «Ладно тебе. Все бы тебе ругаться!» – подумал Якушин про жену. Он сунул в карман коробочку с надписью «Квартплата» – и бросился за друзьями. Он так и взял – с коробочкой. Впервые в жизни он взял деньги, не спросив жену. Он даже не знал, как это делается.

Он нагнал их в гастрономе. Показал им денежку.

– Ребята, идем ко мне. Купим несколько бутылок – и ко мне. Посидим, покурим, все чин чинном. Я «наш», ребята.

Валера и Серега обрадовались. Взяли деньги и тут же купили несколько бутылок. Но идти к Якушину домой не захотели.

– Не наш, не подлизывайся. Твоя жена в одну минуту нас выставит.

– Не выставит.

– А вдруг?

– Я уговорю ее, ребята.

– И пробовать не надо – что мы, не знаем твою жену?.. Да она и на порог нас не пустит!

Теперь они стояли в каком-то парадном. Было холодно. С ветром залетал снежок. Якушин рассуждал:

– Я вкальваю на фабрике, а вы носите мебель. И то и другое – работа. Почему же именно я стал «не наш»?

Валера стянул с одной из бутылок шапочку:

– Держи.

Распили быстро.

– Хорошо-то как, ребята, – сказал Якушин, чувствуя в груди разливающийся жар.

– Да, – сказали ребята, они уже добулькали бутылку до конца. – Хорошо-то как!

Якушин сказал:

– Все-таки я вас очень люблю, ребята... Песню, давайте песню!

Валера откашливался. Якушин обнимал его за плечи. Валера запел о том, что он любит жизнь. Якушин перебил. Он хотел ту, давнюю, из детства, – про карасей и голубую речку.

И тут его как бы осенило:

- Я знаю, куда мы пойдём петь, ребята.
- Он так и загорелся – к Зое!
- Кто такая?
- Она... она мне как вы, ребята. Подруга душевная. Не подумайте чего лишнего.
- Не подумаем лишнего, – сказали ребята. – Пойдём.

* * *

Зоя была дома одна. Она была в прекрасном настроении. Она вот-вот выходила замуж за своего Леонтия.

- Купил шкаф и пришел похвастаться? – подтрунивала Зоя над Якушиным.

Якушин ответил, что он привык делиться с Зоей всякой радостью. Шкаф – это, конечно, шкаф, дело хорошее, но сегодня у него на душе, увы, не радость...

- Предлагаю еще один тост за Зою! – шумно закричал Валера.

Выпили. А Якушин все говорил о том, что у него сегодня на душе не радость, а обида. Большая обида.

- Зоенька, ну скажи ты. Ну почему? Почему они твердят, что я как-то переменялся? Со стаканом в руке Якушин остановился напротив второй комнаты – там было темно.

- Стой, стой, Якушин! – закричала Зоя. – Не ходи в ту комнату!

Продолжая смеяться, она объяснила, что там краска – там ремонт. Там покрашено и уже просыхает!.. Она подбежала и загородила собой двери.

- Говорю же тебе русским языком: не ходи!

Якушин развернулся. Он был взволнован. «Ребята, ну почему я не наш?» – без конца спрашивал он. В груди его потеплело, оттаяло, и тем сильнее хотелось справедливости.

- Не наш! Не наш! – повторял Валера.

– Не наш! – кричал Серега. – Зоя, подтверди ему, что он не наш. Нравишься ты мне, Зоя, к чему бы это?

- Не наш! – Зоя хохотала, ей было смешно до колик.

А когда на старомодных стенных часах пробило десять, Зоя сказала:

- Ребята, вы все очень милые и забавные, но пора по домам.

Она сказала, что ребятам пора бай-бай. Начались обычные пререкания – ребята хотели допить вино. Они не хотели бай-бай. Десять часов, сказали они, это же детское время.

– Ребята, но я должна уйти. Я должна встретить друга. Ну, любимого моего человека, понимаете?

Ребята взмолились: им же некуда пойти... А Валера вспомнил, что замок у Зои английский. Пусть Зоя спокойно идет к своему любимому Леонтию. А ребята посидят здесь еще немного, выпьют по полстакана, а когда будут уходить, захлопнут дверь.

Зоя рассмеялась. Через неделю она выходила замуж, ей было море по колено.

– Ладно. Даю вам час времени... Но не забудьте захлопнуть дверь. Якушин, ты отвечаешь, понял?

* * *

Час прошел.

Якушин думал о том, до чего же многолики, до чего же переменчивы любимые нами женщины. Сегодня он вдруг увидел Зою совсем не чуткой. Он увидел ее хохотушкой. Пустой и счастливой хохотушкой. Странно...

Валера и Серега в эту минуту стояли у приоткрытой двери в темную комнату. Они вдруг поняли, что там кто-то есть.

– Трус, выходи! – грозно говорил Валера.

– Эй, кто там есть? – заглядывал Серега. – Хватит прятаться. Если ты мужчина, иди сюда.

Подталкивая друг друга, они вошли. Якушин поплелся за ними. В комнате было темно, а свет не включался. Валера сел прямо на пол и стал засыпать. Серега шарил по углам и все повторял, что он почему-то никого здесь не находит. Якушин чувствовал сильный запах краски, а ноги прилипали – но он тащился вдоль стены за Серегой и говорил о дружбе. Он говорил:

– Чувствую я, ребята, что вы уходите от меня все дальше и дальше.

– Да замолчишь ты в конце-то концов! – Серега в темноте схватил какую-то палку и дважды ткнул Якушина. Но ощущение от тычка было странное – Серега ощущал палку.

– Да это же кисть!

Он очень удивился и сел на пол. И стал засыпать. Валера к этому времени уже похрапывал. Один Якушин долго не мог уснуть – глаза его слипались, он сидел у стены и жалобно повторял:

– Ребята, простите, если что... Ребята.

* * *

Вернулась Зоя – она вернулась со своим Леонтием. Время было позднее. Зоя застеснялась, что на столе недопитое и недоеденное.

– Это так. Это друзья заходили ко мне.

– Да ладно – приберешь завтра.

Они сразу перешли в маленькую спальню. Леонтий был утомлен. Он повалился на тахту и тут же уснул. Зоя походила около, что-то вполголоса напевая. Она укрыла Леонтия, а затем и сама прилегла рядом. Так и получилось. Двое спали в этой комнате, трое – в той. Их разделяла гостиная.

Стояла ночь, но Валера проснулся. Было холодно. Поеживаясь, Валера прошелся по квартире и взял тумбочку. Тумба оказалась тяжелой – Валера натужился и понес. С третьего этажа нести вниз не так уж далеко, но руки слушались плохо, и один раз Валера уронил тумбу, а два раза тумба уронила Валеру.

– Вот черт!

Валера вернулся в квартиру. Он разбудил Серегу, и вдвоем они понесли старинный шкаф. Это было тяжело. Третий этаж – это четыре марша по лестнице.

Шкаф поставили рядом с тумбочкой – прямо на снегу, у подъезда.

– А где же машина? – спросил Серега, отдуваясь.

– Черт ее знает. Видно, еще не подогнали.

– Смотри-ка: поленились даже тряпки свои из шкафа вынуть. Дескать, донесут, не надорвутся.

– Еще бы. Не им же нести.

Покурили. Машины все не было.

– А в какой район они переезжают?

– Не знаю... Идем за остальным. Снесем, а потом все сразу погрузим.

Они вынесли стол, стулья, комод. Взялись за кухню... Зоя проснулась – Серега и Валера как раз схватили посудный шкафчик и с грохотом поволокли его вниз. Зоя бежала за ними по лестнице и кричала:

– Вы с ума сошли, что вы делаете?!

– Ты, хозяйка, лучше скажи, где твоя машина. У нас простой получается.

– Какая машина?

И тут в бледном освещении лестничных клеток Зоя увидела, до какой степени они перемазаны краской. Ее стал душить хохот. Они не были похожи на грузчиков. Они были похожи на танцующих папуасов.

Но тут же ей стало не до смеха. На снегу у подъезда стояла вся ее мебель. Посреди пустынной улицы.

– А ну несите обратно! – У Зои сорвался голос.

– Как обратно? – Валера стал шуметь. – Если переезжать раздумали, надо было сообщить об этом вовремя. А теперь, хозяйка, придется заплатить. Свинство какое!

* * *

Якушин тем временем тоже проснулся. Он стал бродить по комнатам. Он наткнулся на спящего Леонтия, начал дергать его и клясться:

– Я «наш», ребята... Ну честное слово даю «наш».

Леонтий едва не потерял рассудок. Он увидел себя на тахте в наполовину пустой и потому незнакомой спальне. Тахта как бы плыла в воздухе. А сбоку за тахту цеплялся и лез на нее какой-то идиот. От идиота разило олифой, и бубнил он нечто неразумное:

– Я «наш», ребята... Ну разве нет?

– Наш, наш, – Леонтий решил во всем поддакивать.

Он уже понял, что это не сон, не кошмар. Он только не мог сообразить, где он находится, как сюда попал.

В гостиной оставался еще в углу низенький столик с недопитыми бутылками – к нему Якушин и тянул Леонтия. Якушин был счастлив. Наконец-то он услышал, что он «наш». Оба выпили. Якушин тихо плакал. Теперь он хотел песню – «ту самую, нашу, из детства». Леонтий уступал во всем. Он постарался ухватить мелодию. И теперь оба пели:

Караси, караси,
голубая речка...

Вошли Валера с Серегой и с ними Зоя. Они бранились. Они никак не могли сойтись в цене за обратный внос мебели.

– Да вы просто кретины! – кричала Зоя. – Я вообще не обязана вам платить!

Якушин, увидев Валеру и Серегу, кинулся к ним:

– Ребята, ребята. Я – «наш»!

– Да заткнись ты! – Ребятам было не до него.

Зоя крикнула Леонтию:

– Беги скорее вниз! И не отходи ни на шаг. Мебель посреди улицы!

Леонтий не понимал. Наконец понял – помчался вниз.

Якушин цеплялся за ребят. А ребята – Валера и Серега – наседали за Зою:

– Последнее слово, хозяйка. Или ты нам платишь, или нет?

– А с ментами побеседовать не хотите?! – Зоя с криком выскочила из квартиры.

Она заперла их на ключ, на два оборота, и теперь как на крыльях летела в милицию. Она миновала свою мебель. Хлопьями падал снег. Плохо одетый Леонтий честно сторожил добро посреди пустой улицы. Он сидел на комодке, курил и болтал ногами.

* * *

В квартире Валера и Серега сели допивать остатки.

– Это ты нас свел с такой клиенткой? – угрюмо спрашивал Валера у Якушина.

– Ребята, да я... да если надо...

– Молчи уж!

Они допили. За окном чуть брезжило.

– Заперла нас она. Надо как-то выбираться отсюда.

Оказалось, что есть балкон, – на душе сразу стало легче. Этаж был третий, но внизу было много снега.

– Светает.

– Ага.

Здесь же, на балконе, ребята вдруг заметили, что здорово перемазались краской. Валера сказал:

– Первый раз в жизни пришлось нести крашеную мебель. Даже не заплатили.

Сергеа махнул рукой:

– Да черт с ними, с деньгами. Ну, Якушин, показывай пример, как надо прыгать! Или давай я первым буду.

– Я! Я!.. – Якушин закинул ногу и перелез решетку.

В глазах его стояли счастливые слезы. С пьянящей душу мыслью: «Я «наш», уж теперь-то я «наш»!» – он прыгнул в темноту, целясь в смутное белое пятно далекого сугроба. За ним прыгнул Серега, а после Валера. Через час их забрала «Скорая помощь».

Их так и поместили рядом – втроем в общую палату. Валера и Серега сломали каждый по руке и ноге. Якушин отделался легче, сломал только ногу. В этом его упрекнули.

Когда боль на минуту утихла, Якушин спросил:

– Ребята, почему вы хотели меня обидеть? – Голос его дрогнул. – Почему вы говорили, что я «не наш»?

Валера ответил сурово. Его мучила боль.

– Не наш!.. Ты даже, когда прыгал, сугроб себе выбрал получше.

На зимней дороге

Рассказ

Нет туда ни моста, ни парома. И только зимняя дорога идет через Зябликово.

Зато каждую зиму Ермилов пробует и открывает здесь путь. Он ходит у берега, покрикивает, посмеивается. Запряженные одной лошастью сани уже перед ним, все готово, а он похаживает, придает моменту значительность. И это не для себя только, не себя ради. Другие тоже хотят видеть значительность, и вот они видят ее. Ермилов подбирает в сани «для весу» двух бабенок, усаживает их, посмеивается над ними и... вдруг среди собственного посмеиванья, не предупреждая, бьет лошадь сильным коротким движеньем кнута. Лошадь берет сразу, рывком, а бабенок откидывает назад так, что они чуть не ломаются в спине.

Правит Ермилов, понятно, стоя. Бабенки визжат. Он кричит:

– Щас потоплю! Э-эх!

И народ с берега смотрит, как они удаляются, как ровные линии санных полозов секут реку. Ермилов возвращается, вокруг кричат: «Ур-ра!» – но это не все. Сани – это легкая проба. Сани – это опять же для значительности момента. Потому что теперь Ермилов садится за руль и проделывает то же самое на машине. В этот раз никого не берет. Как-никак риск... И теперь уже мы – с этого берега – кричим: «Ур-ра!», а зябликовцы с того берега машут нам руками. Зовут.

Мы – это уже накопившиеся у берега машины, десятка два машин. Те, кто надумали ехать более короткой, зимней дорогой. Прогоня большие, и очень удобно первую остановку сделать как раз в Зябликове, в той особенной деревеньке, где зима – начало жизни.

* * *

Пока стояли в ожидании, я сменил попутную машину – Андрей, знакомый мне шофер, выглянул из самосвала и окликнул:

– Ну так перелазь в мою. Опять вместе поедem.

У него в кабине сидела девочка.

– Поместимся? – спросил я Андрея.

– Конечно!

И Андрей пояснил:

– К тетке ездила. А теперь возвращается... И как только маленькую такую пускают в мороз. Я бы никогда не пустил. Эти деревенские ни о чем не думают.

Девочка сидела меж нами.

– Сколько тебе лет? – спросил я.

– Десять.

Выглядела она на меньше. Щупленькая и ростом мала.

– А звать?

– Машуля...

И больше говорить не хотела. Она была вяленькая и как бы без интереса к окружающему. Мы вылезли смотреть, как пробуют дорогу, а Машуля осталась в кабине. Не захотела. А играло солнце, снег искрил, и Ермилов как раз хлестнул, погнал в первый путь лошадь.

Среди окружающих с нашего берега была небольшая группа. Явно городская. Симпатичный молодой паренек (с магнитофоном в руках) нетерпеливо расхаживал и пинал снег ногой. Он хохотнул и вдруг сказал мне, похлопывая по коробке магнитофона:

– Вот. Всю дорогу на коленях везу... Песни записывать едем!

А в восторженных его глазах читалось: ну, песни – это так, повод. Для отчета. А уж во всяком случае мы погуляем... В их группке была пожилая женщина, видимо старшая. Звали ее уважительно: Розой Петровной. И еще один выделялся парень, этот был быстрый и деловой – для контактов с населением.

– Ур-ра! – раздался общий крик, дорога открыта, и мы помчались по замерзшей реке. А навстречу нам – зябликовцы, те, которым наскучило быть отрезанными. Они, в свою очередь, мчались в райцентр. Кто по делам, кто за покупками, кто просто кино посмотреть в приличном кинотеатре... Зимняя дорога открыта.

* * *

Машину мы приткнули у знакомой избы, где ночевали в прошлом году. Самих хозяев дома не оказалось.

– Вот они, – сказал Андрей. – Эй, хозяин! Анюта!

Но те не слышали. Было вот что. Машины, вставшие перед долгим пробегом, тянулись длинным рядом. Из кабин выглядывали шоферы, а на них смотрели принарядившиеся зябликовцы. Вдоль этого ряда и бегала Анюта, ничем не приметная молодая женщина, – бегала с «продажей». С теплыми вязаными носками из темной шерсти. А муж плелся за ней и звал домой:

– Иди же! Кому говорю?

– Отстань, дай продать! – смеялась Анюта.

Она перебегала к другой машине и опять болтала с шофером, показывая носки. Муж, хорошо выпивший, шел за ней, покачиваясь, боясь поскользнуться.

Вокруг смеялись.

– Он шей хочет, Анюта!

– Да что там шей: он в таких случаях чай уважает!

Муж Анюты был удивителен – непьющий, он однако мог пить немислимо много и долго, кроме того, был умен. Эти его качества, взятые вместе, использовались деревней для важных переговоров с райцентровскими. Ермилова обычно посылали в дело больше для лихости и наскока, а дать умную цену, убедить, настоять на своем, добиться и пересидеть за бутылкой – это делал муж Анюты. В этот день он уже выбил у райцентра открытие ларька (в связи с зимней дорогой) и добился лесоматериалов – два дела.

И вот он, тяжелый и нагруженный водкой, шагал за женой и говорил:

– Брось ты эти носки. Вот надумала. Ну, кому я говорю?..

А Анюта как в игру играла. Смеялась, смотрела на него: да? идти домой? а чего я там скучать-то буду?.. И опять бежала с носками к другой машине. Все это было забавно, суетно и лишний раз подчеркивало веселье и особенность дня. И все разом рассмеялись, когда муж Анюты будто бы взмолился:

– Да не беги ты так быстро. Я ведь и точно чаю хочу!..

Анюта успевала и болтать, и продавать. У нее осталась последняя пара носков, и, торжественно размахивая ими перед глазами мужа, она дразнилась:

– Видишь, как ловко!.. Бэ-бэ-бэ, барашка, барашка!

А он, перепивший, устало улыбался.

* * *

Снег был ослепительный, мороз и солнце. При смехе застывали зубы. И вот тут Андрей сказал мне негромко:

– Между прочим, Анюта не просто так бежит. Она Витьку Егорова ищет. Клянусь. А Витька в прошлом году замерз. С нашей автобазы парень...

– Чего же она его ищет? Не знает, что ли?

– Наверное, не знает. Стр-рашный был бабник... Я тебе расскажу после.

Андрей смолк, потому что муж Анюты подошел совсем близко. Мы поздоровались. Он покачался, поводил глазами, однако узнал нас.

– А-а... Опять ко мне? Ну пошли, пошли!

Он добродушно махнул рукой.

– Все пошли. Все как есть!

Мы пришли в избу, расположились (рассказ Андрея так и замялся на время). Андрей ушел обедать со своей шоферской братией. Я и Машуля сели пить чай. Пили мы долго, делать было нечего. Хозяин, муж Анюты, то и дело выходил к нам из спальной комнаты – выходил, держась за голову, подсаживался к самовару и пил стакана три. Пил он со стонами, с шумной отдышкой. И каждый раз, кончая стакан, приговаривал:

– Ох, хорошо! Ох, господи!

Мы с Машулей разговаривали о том, как она учится. Девочка, видимо, от природы была вялая. Еще как бы не проснувшись, она и читала и могла ответить, но все без удовольствия. И если я повторял вопрос три или четыре раза – лишь тогда отвечала. Сидеть и разговаривать в тепле было в удовольствие. Так что, когда пришел Андрей, мы еще сидели за чаем.

Он подсел к нам и сразу же (но негромко) стал рассказывать, как угорел тот самый Витька Егоров, которого искала Анюта.

– Ты же говорил, что он замерз?

– Ну слушай, слушай... Страшный был бабник. Шоферил, как и я. На большом прогоне, как раз подъезжая к Зареченской, он встал...

История не такая уж редкая. Ехал. Встал, чтоб поспать. «Грелся» машиной. Мороз, и потому окна, конечно, прикрыл. Отработка, то есть газы, шла в кабину, и он угорел.

– ...Видел я Анюту. Смотрела-смотрела на меня, ждала, но не спросила. Мы ведь с Витькой с одной автобазы. Постеснялась.

Андрей помолчал, потом мигнул:

– Может, сказать ей?

– Скажи, конечно.

– Меня подмывало сказать. Думаю: не заплачет же, в самом-то деле? Уже рот открыл, чтоб сказать, а тут наши ребята вышли. Ну, шоферня наша. И позвали меня...

Андрей примолк. Появился муж Анюты. И Андрей, не зная, как и о чем теперь продолжать, тут же принялся за насмешничанье – оно сегодня уже как бы связывалось с Анютиным мужем.

– Жена-то твоя без чая тебя оставила, а? Распустил ты ее!.. Или сегодня ты ей все разрешаешь?

– Пусть веселится. День хороший, – сказал муж и опять со стоном принялся пить чай.

– Перебрал сегодня?

– Перебрал. Тебе жалко? – был простой и ясный ответ. Особенно это «тебе жалко?» было сказано ровно, спокойно, без малейшего наскока. Женщины в этой деревне не красавицы. Женщины незаметны, неярки и очень уступают мужчинам. Наш хозяин это подтверждал. Статный и породистый. Немногословный. Особенно же лоб был красив – большой и чистый лоб, в эту минуту весь в испарине от выпитого чая.

– Ваша девочка? – спросил он меня.

– Нет.

Мы рассказали, что взялись подвезти Машулю на машине, и что мороз, и что как это ее одну отпускают. Муж Анюты не ответил на это. Прихлебывая чай, он только сказал:

– Зареченская.

* * *

Мы с Андреем вышли. Андрея скоро звали дружки, а я бродил, смотрел – как солнце бьет в снег и как снег, не шелохнувшись, с абсолютной отдачей и ясностью его отражает. У зимнего переезда по-прежнему толпился народ. Подъезжали новые машины.

Из избы слышалось многоголосое пение:

Ехали казаки, ехали по-над лесом,
Ехали...

и взлетали, как вспугнутые, женские высокие голоса. И кто-то частил на припеве. Слышались пьяные выкрики.

Я увидел знакомого. Вышел без пальто на мороз и стоял на крыльце тот паренек, что ехал с магнитофоном. За ним вышел и хозяин, толстый мужик. Этот улыбался, был доволен, что паренек хорошо у него в гостях выпил, все как надо. Паренек был без шапки, в спортивном пиджачке и, заплетаясь языком, все спрашивал – где находятся свиньи. Хозяин думал, что это пьяный лепет, и не отвечал, только махнул рукой:

– Будет... Будет тебе!

Запинаясь, едва не плача, паренек что-то растолковывал. А хозяин не понимал.

– Роза Петровна! – забарабанил паренек в окошко с улицы. – Роза Петровна, где же свиньи?

Роза Петровна кричала ему в окошко:

– Евлантьев! Зайди немедленно!

А он все стучал, звал, просил. Но было не до него, в избе пели. Записывали на магнитофон или нет – неизвестно, но пели.

– Да ну вас к черту. Роза Петровна! – крикнул паренек и сам, решительно пошел по узкой снежной тропке в глубь двора. С ним и хозяин. Хозяин ввел в хлев, там были два здоровенных кабанчика.

– Когда купил их, были малюсенькие. Как рукавички, – объяснял хозяин. – Всего за тридцать рублей купил...

– Как рукавички... Малюсенькие... – умиленно повторял пьяный парнишка и вдруг схватил кабанчика за бока. Тот, истошно вскрикнув, рванулся. За ним второй – оба кабанчика выскочили из хлева, сбились с тропинки и, неловко прыгая и дергаясь, бежали по глубокому снегу. Паренек тут же настиг одного из кабанчиков, схватил. Тот орал с перепугу, зарывался в снег. «Ну, покричи. Ну, подай голос», – просил парнишка и, нащупав коротенький хвостик, наматывал его на пальцы, дергал, тянул. Сказать, что кабанчик подавал голос – это ничего не сказать. С диким визгом он кое-как вырвался, парнишка успел схватить его обеими руками, и кабанчик тащил его, метра три вспахивая снег. Парнишка встал с улыбкой блаженного, лицо его было залеплено снегом. И тут же прыжком он кинулся на второго и взял-таки его мертвой хваткой. Кабанчик орал. Хозяин корчился в снегу от смеха. Выскочившая в накинутах пальто Роза Петровна кричала строгим голосом:

– Евлантьев! Евлантьев, прекратите!

А парнишка, прижимаясь лицом к щетине, улыбался и повторял:

– Первый раз живых увидел. Никогда их не видел... Первый раз!

И вот он возвращался в избу, весь в снегу, с улыбкой счастливого человека (и с темной отметиной на щеке – кабанчик все же лягнул). Трогая эту отметину, паренек сиял:

– Это он любя... Это он мне на прощанье.

* * *

Увидел я и первооткрывателя: Ермилов сидел с хромым председателем на заснеженном крыльце будущей столовой для проезжающих. Они вели шепотом напряженный разговор.

Затем Ермилов встал, отбросил папироску и сказал громче:

– Болты, ключи гаечные, шестеренки – четыре ящика!

У председателя, видимо, заколотило в сердце.

– Сколько ж они просят?

– Тут не просят, тут *давать* надо. Шестьсот за все. Триста сейчас, а триста захватят на обратной дороге.

Председатель закачал в ужасе головой, трусовато заойкал:

– Нет, боже мой, нет... Откуда такие деньги?

– Давай, тебе говорят, не жмись... А еще председатель! Тебе сторожем быть, а не председателем!

– Уж очень... оно ведь дорого. И притом ворованное ведь продадут, а?

– Тебе-то что? Или думаешь, ворованные болты без резьбы бывают?

– Не думаю я этого.

– Ну?

– Деньги-то какие...

Ермилов сплюнул, повернулся и пошел.

Председатель, сильно хромая, заспешил за ним. Заглядывая в глаза:

– Да я... Да погоди... Ермилыч...

– И слушать не желаю.

Председатель знал, что Ермилов горячий – может уйти, не повернуться. И потому, хоть и прихрамывая, не отставал ни на шаг.

– Ермилыч... голубь! А не ворованное?.. А вдруг они тебя обманывают?

– Говорят же тебе: нет, не ворованное!

– А поклянись.

– Ну, клянусь!

Председатель схватил его за рукав полушубка:

– Ермилыч... Может, это. Может, правда купить у них? Бог с ними, с деньгами...

– Иди сам договаривайся. Я больше не ходок.

– Пойдем вместе. Пойдем и купим... Ермилыч, ты ж и языкат, и все такое. Пойдем вместе, а? Пойдем, голубь...

Так они и прошли вместе к трем громадным мазовским машинам, что стояли носами друг к другу, будто принимались.

А кругом шло продолжение. Девки в нарядных платках стояли на правом или на левом крыле машины и болтали с приехавшими шоферами. Или уже влезли внутрь кабины и, закрыв окна, болтали и беззвучно, не смеялись там, внутри.

Вечерело. Возвращались те, кто ездили в райцентр. Первыми возвращались старушки – шли мелкими шажками и сияли старушечьей благостью.

Солнце садилось. Снег становился алым, затем багровел – и надолго переходил в розоватый, мягкий, с сумеречным наплывом. И пришло ощущение, которое подстерегает без причины и не угадаешь где. Вот так и было. Стали розоватые сумерки. И ничего особенного. Кто-то бросался снежками. Девки болтали с шоферами. А деревенские пацаны не прекращали своего челночного движения: прыгали в машину, ехали через реку, а там цеплялись к встречной машине и возвращались в деревню.

* * *

Я вернулся в избу. Аняты дома не было. Муж ее и дети спали – из спальни комнаты доносилось мерное и хорошо слышное хозяйское дыхание.

– Ну? Спать будем? – спросил я Машулю.

Девочка сидела и рассматривала отрывной календарь. Пальцами она придерживала красные воскресные листки. И сказала:

– Хочешь, почитаю тебе по одним воскресеньям?

Читала она легко, бегло. К вечеру она стала гораздо активнее, как это и бывает у вялых детей. Слова ее торопились, с лихорадочной даже спешкой. Глаза блестели. А было время спать.

Мы стали укладываться. Для меня и Андрея (Андрей где-то загулял) на полу лежали старые тулупы. А Машуле еще днем было постелено на сундучке. Я сказал ей: «Спокойной ночи», – и, не гася свет, мы скоро уснули.

Проснулся я оттого, что Машуля меня звала.

– Что такое?

– Волк, дядя... Волк.

Время от времени слышался вой.

– Это не волк, Машенька. Это собака. Ты ж девочка умная, знаешь, что по ночам собаки иногда воют. Это бывает...

– Нет, дядя, волк это. Честно вам говорю: волк...

Она сошла с сундучка, шагнула ко мне и прижалась, ее била дрожь. Я погладил ее, говорил что-то, чтобы она успокоилась. И скоро она уснула. Я как раз переносил ее на сундучок, легкое и маленькое тельце.

– Тсс, – сказал я входящему Андрею.

– Ага, ага, – закивал он понимающе. И добавил шепотом: – Сказал я Аняте. Это она голосит. Слышишь?

– Она?

– На крыльце сидит...

И опять раздались эти необычные звуки, не рыданья и не крики. Я различил теперь всхлипыванья. Но всхлипы были редки, а больше всего длилось это протяжное, однообразное... Анята пришла примерно через полчаса. Мы лежали на полу, уже молчали и будто бы спали. Она села за стол, принесла две или три картошки в мундирах и съела их, макая в соль. Она очень медленно ела. Выпила холодного чая и прошла в ту половину. Слышно было, как она раздевается.

Муж Аняты тихо сказал:

– Поплакала?

– Поплакала.

Помолчали.

– Ты хоть поела? – Он вздохнул и добавил: – А эти-то легли?

– Спят, – сказала она.

Все стихло. Заснул Андрей. И я засыпал – перед глазами все падали и оседали искры, от долгого смотренья на сегодняшний снег.

Предтеча Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Помимо своей чудовищной говорливости, Якушкин передавал энергию внешне совсем просто, и, может быть, слишком просто – из рук в руки; делалось же это втиранием, делалось не всегда и не направо-налево, а исключительно в кризисные ночи, когда умирающий – умирал. Но только чудо исцеления совершалось, *отчудивший* Якушкин тут же и по каким-то своим знахарским причинам вновь спешил отдалиться и уйти, оставив больного в одиночестве. Приезжая, он лишь навещал: через день, и два, и вот уже через три. Он входил, и, едва слышались его бухающие шаги, больной в постели трепетал и дергался, как трепещет и дергается телом молоденькая женщина перед объятьями; лежащий, он запрокидывал голову, чтобы видеть входящего Якушкина, и, слабо вскрикивая, уже тянул издалека руки к рукам.

Якушкин, перетоптавшись возле постели, садился; он не спешил: минуту-две старый знахарь не видел больного, и взгляд его застывал; упершийся глазами в паркетину пола или в стертый рисунок коврика, старик надувался: казалось, он выродит сейчас от натуги некое огромное яйцо, может быть, птенца. Глаза у него округлялись. Он багровел. Склоняясь к больному, мелко и зажданно подрагивающему от нетерпения, знахарь брал наконец ладони его в свои и ласково говорил, хотя в ласковости была и всегда таилась припрятанная угроза:

– Ну, будешь за жизнь бороться? – И смеялся стариковским, погромыхивающим вдруг смешком.

Поначалу хватало ему и ласковости, и такта: во всяком случае, не сразу напоминал он умирающему, что тот подонок и скот и что болезнь свою и беду не только заслужил, но еще и недобрал в ней: повезло. Неизменно доброжелательный в первые минуты, Якушкин не говорил умирающему, что тот, если уж по совести, давным-давно должен прикармливать собой червей. Знахарь кивал и даже подкупающе улыбался, показывая желтые стариковские зубы. Лишь после, расспросами вызвав и выманив (или же просто выждав) минуту человеческой слабости, он начинал орать и грубо тыкать: «Чего, чего, сука, хнычешь – думай-ка лучше, в чем перед природой провинился. Ну?.. Небось жрал чрезмерно? Небось на должности лез, отпихивая локтями? Блядовал? Пил?!» – орал Якушкин, а больной, застигнутый и доверившийся, в немоги наскоро соглашался: мол, виновен, такая, мол, жизнь, – однако признание кивком и спешной слезой не смягчало Якушкина; более того, добравшийся до души знахарь тут только и распалялся. Над больным, теперь уже неотрывно, нависал приблизившийся и огромный стариковский череп, на котором под седыми волосами тянулся, темнея, неровный зигзагообразный шрам (в период говорливости шрам зудел, и он скреб его). Знахарь теперь говорил, бубнил безостановочно, крича больному вдруг и прямо в лицо, – и тот терпел.

Без возможности встать, или же отодвинуться, или хотя бы зажать уши, распластаный, больной лишь дергался, выкрикивая наконец истерзанно и истерично: «... Уберите его от меня, прошу! Не могу-у-у, уберите же изверга!» Изверга, однако, не убирали, никто не входил. Никто даже не заглянул, не сунул, обеспокоившийся, головы в дверь, так как жесткая мера невмешательства непременно оговаривалась с родными перед врачеваньем. Лицо в лицо Якушкин бубнил и бубнил ему свое, пока истерика больного не сламывалась и не дробилась в хныканье,

в жалобные стоны бессилья, после чего Якушкин сам же и отворачивался как бы с омерзением от жалкого и распластанного, уходя на кухню глотнуть чаю.

Якушкин так и сидел, уставившийся в хлебную крошку, в россыпь крошек на кухонном столе; он вроде бы надолго здесь расположился, но совсем скоро, как и было замыслено, больной из той комнаты («Сергей Степанович!.. Сергей Степанович!..») звал его расслабленно и моляще, потому что без знахаря становилось к вечеру жутко.

Внутренняя тяга, уже приковав (приговорив) больного к этому хаму и крикуну, срабатывала; тяга оказывалась зависимостью: жалок и, конечно же, в чем-то и впрямь «перед природой виновен»; выпивал, к примеру, женщины тоже, но ведь умирающий, больной ведь, и неужели же о той сослуживице *опять* рассказывать? «Сергей Степанович!..» – расслабленно звал он и кликал, однако Якушкин приблизительных покаяний не терпел, не принимал, что и выяснялось немедленно: «Знаю! Знаю!.. Уж слышал!» (выкладывая, мол, с доньшка!) – грубо перебивал знахарь, едва войдя с кухни бухающими шагами, не успевший допить там чай. Выслушав, Якушкин начинал *дергать* его вновь, и часа через четыре больной находился в состоянии, близком к обмороку. В околообморочной глубокой слабости больной и засыпал, тогда знахарь уходил. И заметно было – Якушкин уходил, пошатываясь, тоже опустошенный: мол, все свое отдал.

Но отдал он много – не все. В полосе активной говорливости (от полутора до двух месяцев) Якушкин рта как бы и не закрывал и после длительного, яростного врачеванья был в силах сразу же идти к остановке и втискиваться и ехать, стоя в тряском автобусе, к тем *своим и любимым*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.